



Подтекст пейзажей в “Преступлении и наказании”

И.В. ГРАЧЕВА,

кандидат филологических наук

Ф.М. Достоевский, прослеживая в романе “Преступление и наказание” зарождение и развитие идеи Раскольникова, показывает, что наравне с другими факторами немало способствовал этому сам пейзаж Петербурга. Так, в начале романа описывается, какое впечатление произвели на героя невыеские острова: “Зелень и свежесть понравились сначала его усталым глазам, привыкшим к городской пыли, к известке и к громадным, теснящим и давящим домам. Тут не было ни духоты, ни вони, ни распивочных. Но скоро и эти новые, приятные ощущения перешли в болезненные и раздражающие. Иногда он останавливался перед какою-нибудь изукрашенною в зелени дачей, смотрел в ограду, видел вдаль, на балконах и террасах, разряженных женщин и бегающих в саду детей. Особенно занимали его цветы; он на них всего дольше смотрел. Встречались ему тоже пышные коляски, наездники и наездницы...” (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. VI. С. 45; далее – только том и стр.).

Архипелаг невыеских островов (Петровский, Аптекарский, Крестовский, Каменный, Елагин) был окраиной города. Там находились дачи петербургской знати и дворцы, принадлежавшие царской фамилии. Пейзажи островов вызвали у Раскольникова двойственные чувства. Они словно являли глазам героя тот идеал гармоничного единения с природой, к которому вечно стремится человеческое сердце. Но не случайно первые, непосредственные “приятные ощущения” вскоре сменились у Раскольникова озлоблением. Он вспомнил, что этот светлый, прекрасный мир создан для узкого круга социальной элиты и отгорожен прочной оградой от остальных людей, обреченных на нищету и страдания в маленьких грязных каморках и душных городских переулках. И сам он, подсчитывающий на ладони все свое состояние (“около тридцати копе-

ек”), может лишь издали, сквозь ограду созерцать недоступный для него благодатный земной рай.

Художественным первоисточником этой сцены скорее всего стало стихотворение Ф.И. Тютчева “Пошли, Господь, свою отраду...” (1850):

Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто в летний жар и зной,
Как бедный нищий, мимо саду
Бредёт по жаркой мостовой;

Кто смотрит вскользь через ограду
На тень деревьев, злак долин,
На недоступную прохладу
Роскошных, светлых луговин.

Не для него гостеприимной
Деревья сенью разрослись,
Не для него, как облак дымный,
Фонтан на воздухе повис.

Лазурный грот, как из тумана,
Напрасно взор его манит,
И пыль росистая фонтана
Главы его не освежит.

Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой,
Как бедный нищий, мимо саду
Бредет по знойной мостовой.

Это стихотворение вошло в поэтический сборник Тютчева, вышедший из печати в 1854 году в качестве приложения к журналу “Современник”. Достоевский, познакомившись с этим сборником, писал А.Н. Майкову 18 января 1856 года: “Скажу Вам по секрету, по большому секрету: Тютчев очень замечателен; но... и т.д. (...) Впрочем, многие из его стихов превосходны” (Достоевский Ф.М. Указ. собр. соч. Письма. Т. 28. Кн. 1. С. 210). Дважды у Тютчева упоминается фонтан. Этот образ контрастен другим, открывающим и заканчивающим стихотворение: “летнему жару и зною”, “знойной мостовой”. Роман Достоевского открывается таким описанием Петербурга: “На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу...” (6, 6). И в дальнейшем герой, проходя мимо Юсупова сада, “заялся мыслию об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях” (6, 60). Но если Тютчев уповает на Божье милосердие (“Пошли, Господь, свою отраду...”), то герой Достоевского убежден,

что никто не решит за людей их социальные проблемы и лишь от них самих может зависеть преобразование окружающей действительности. Мечты Раскольникова о том, какой бы он хотел видеть человеческую жизнь, также переданы с помощью петербургского пейзажа: “Мало-помалу он перешел к убеждению, что если бы распространить Летний сад на все Марсово поле и даже соединить с дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасная и полезнейшая для города вещь” (Там же).

Речь идет не просто об эстетической перепланировке одного из петербургских ландшафтов, подтекст этого отрывка гораздо глубже и сложнее. Марсово поле было местом военных учений и парадов, местом демонстрации военной мощи русского самодержавия. Желание Раскольникова уничтожить саму память об этом поле, превратив его в сад, намекает на невысказанную прямо на страницах романа суть идеи героя. Главное в ней – стремление освободить людей от самодержавно-бюрократического гнета, найти пути к созданию нового общества, основанного на социальной справедливости и внимании к нуждам простого человека. Тогда можно было бы распоряжаться и дворцовыми садами, ставшими общенародным достоянием.

Упоминание о Михайловском саде тоже не случайно. Здесь стоял дворец-замок Павла I, безмолвный свидетель политического заговора, в результате которого был убит император. Сама русская история XVIII – начала XIX века, дворцовые перевороты, совершавшиеся с завидной легкостью, могли привести героя к убеждению, что в России все возможно, можно “взять просто-запросто все за хвост и стряхнуть к черту”. Вопрос лишь в том, найдется ли тот, кто осмелится сделать решающий шаг. Недаром Раскольников говорит Соне, что “власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь!” (6, 321).

Один из пейзажей, изображенных в романе, является особенно значимым. Вероятно, именно он способствовал возникновению теории Раскольникова о “необыкновенных” личностях, могущих оказать влияние на ход истории. В романе говорится, что “случалось ему, может быть раз сто, останавливаться именно на этом же самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению”. Раскольников стоял на Николаевском мосту, по которому обычно ходил в университет, и “оборотился лицом к Неве, по направлению дворца” (6, 90, 89).

В черновых вариантах Достоевский подчеркивал, что его герой, возвращаясь из университета, “даже взял в привычку останавливаться минуты на две на мосту...” (7, 39). Открывавшаяся с этой точки обзора перспектива зданий, расположенных по обоим берегам Невы, не только будила историческую память, но и несла определенную социально-политическую информацию. На одном берегу здания Академии худо-

жесть, университета, Академии наук, Кунсткамеры (первого русского музея) ассоциировались с веком русского Просвещения и напоминали о наивных надеждах русских просветителей совершенствовать политический строй и общественно-социальную жизнь России, воспитывая разум и души своих современников, а прежде всего – правителей. Но перспектива набережной замыкалась виднеющимся вдали шпилем Петропавловской крепости, в которой в качестве арестантов побывали лучшие умы России. В XVIII веке там оказались те же самые просветители (Н.И. Новиков, А.Н. Радищев), в 40-е годы XIX века томился, ожидая смертного приговора, Достоевский вместе с товарищами-петрашевцами”, также поплатившимися за увлечение просветительскими идеями.

В период создания романа “Преступление и наказание” в крепости находился Д.И. Писарев, успевший уже привлечь внимание публики своими резкими и оригинальными критическими статьями. А чуть ранее там писал роман “Что делать?” объявленный государственным преступником Н.Г. Чернышевский. В последней главе романа Чернышевский выражал надежду, что в 1865 году, когда будут закончены реформы и народ окончательно убедится, насколько жестоко его обманули, может произойти социальный взрыв, который приведет к “перемене декораций”. Достоевский, создавая в этом же 1865 году свой роман и вспоминая четвертый сон Веры Павловны, с горькой иронией констатировал, что упования Чернышевского оказались напрасными и вместо “хрустальных дворцов” народ получил только кабаки. “Хрустальный дворец” – так назван в романе один из неприглядных трактиров, где Раскольников встречается с Заметовым. Причем это знаменательное название вовсе не придумано Достоевским, а взято из реальной петербургской жизни.

Таким образом, исторический опыт России показывал, что просветительство бессильно помочь народным бедам, так как интеллектуальная и духовная жизнь общества находится под неусыпным контролем правящих властей, категорично пресекающих распространение неугодных им идей. Вот какая цепь далеко идущих размышлений могла выстроиться у читателя, представлявшего себе один из берегов Невы, увиденный Раскольниковым с Николаевского моста.

На другом же берегу, словно по контрасту, сосредоточились здания, символизировавшие все формы власти, с помощью которых государство жестко подчиняло себе человека: Зимний дворец (власть императорская), Исаакиевский собор (идеологическая), Сенат и Синод (бюрократическая). В описании Достоевского особо выделен Исаакий: “Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста, не доходя шагов двадцати до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение” (6, 89–90).

Сияющий купол притягивал взгляд героя не только к зданию собора, но и к тому месту, которое в истории Петербурга имело особенное значение. Это – Сенатская площадь перед собором, связанная с памятью о неудавшемся декабристском восстании. В сущности, Раскольников, желавший восстановить социальную справедливость, столкнулся с теми же проблемами, которые в свое время пытались, но не смогли решить декабристы. И недаром Раскольников, “пристально” вглядываясь в этот ландшафт, “дивился (...) каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению...” (6, 90). Именно этот вид мог вызвать у героя мучительный вывод, что деятель, стремящийся повлиять на ход истории, непременно должен быть готов к тому, чтобы бестрепетно переступить через пролитую кровь. Декабристы, желая избежать кровопролития, отказались от обсуждавшегося плана вооруженного захвата Зимнего дворца – и потерпели поражение. Зато Николая Павловича подобные нравственные проблемы не смущали – и он стал русским правителем. Раскольников однажды думает: «Прав, прав “пророк”, когда ставит где-нибудь поперек улицы хор-р-рошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостоивая даже и объясниться! Повинуйся, дражщая тварь, и – не желай, потому – не твоё это дело!...» (6, 212).

Обычно комментаторы относят это высказывание к одному из эпизодов борьбы за власть Наполеона. Но Сенатская площадь подказывала герою (а вместе с ним и читателю) более близкую аналогию из русской истории, когда Николай I, выдвинув пушки, хладнокровно расстрелял посреди собственной столицы своих политических оппонентов, а вместе с ними – попавших под картечь случайных зевак и мастеров, работавших на строительстве Исаакиевского собора. Подтверждением закономерностей, касавшихся судеб “необыкновенных” личностей, для Раскольникова мог служить и возвышавшийся посреди Сенатской площади памятник Петру I. Приход к власти Петра, своевольно изменившего жизнь России, сопровождался жестоким подавлением стрелецких мятежей и казацких бунтов. В первоначальном замысле романа не Наполеон, а именно Петр I являлся для Раскольникова главным ориентиром, по которому он проверял свою теорию. Об этом свидетельствуют черновые редакции. Так, в исповеди перед Соней Раскольников говорил: “Мне власти надо. (...) Я хочу, чтоб все, что я вижу, было иначе (...) Я не мечтаю хочу, я делать хочу. Я сам делать хочу”. И вслед за этим в скобках Достоевский привел исторический пример, на который ссылается герой: “Голландец Петр” (7, 153).

Если в окончательном варианте Раскольников смотрит на Сенатскую площадь с Николаевского моста, то в черновиках он приходит на площадь, и внимание его сосредоточено на памятнике Петру: “Я пошел потом по Сенатской площади. Тут всегда бывает ветер, особенно около памятника. Грустное и тяжелое место. Отчего на всем свете я никогда ничего не находил тоскливее и тяжелее вида этой огромной площа-

ди?” (7, 34). В окончательной редакции русские аналогии, неудобные по цензурным соображениям, были заменены европейскими примерами. Но в подтексте романа тень Петра повсюду сопровождает Раскольникова. О Петре напоминает сам созданный им и названный в его честь город. Возвращаясь с островов, Раскольников засыпает на Петровском острове. “Раз сто” останавливаясь на Николаевском мосту, он видит скульптуру Медного Всадника. Даже в его размышлениях о том, чтобы соединить Летний сад с Михайловским, тоже подспудно присутствует образ Петра. Ведь в Летнем саду стоял Петровский дворец, а возле Михайловского замка, напротив Летнего сада, Павел I распорядился поставить еще одну конную статую Петра.

Повествуя о том, как Раскольников запутался в противоречиях своей теории и совершил нелепое, бессмысленное преступление, Достоевский развенчивал представления героя о том, что можно стать “добрым” Наполеоном или Петром. Раскольников мечтал о власти, чтобы облагодетельствовать обездоленных людей. Сестре он признавался: “Я сам хотел добра людям и сделал бы сотни, тысячи добрых дел...” (6, 400). А в черновиках автор так формулирует мечту героя: “сгрести их в руки и потом делать им добро” (7, 83). Но, по Достоевскому, любой правитель, навязывающий свою единоличную волю целому народу (даже если это делается из самых лучших побуждений), неизбежно оказывается деспотом, безразличным к нуждам и бедам “маленького человека”. И не случайно отрывок из ранних редакций романа, когда Раскольников оказывался на пустынной Сенатской площади перед памятником Петру, испытывая при этом “госкливые” и “тяжелые” ощущения, перекликался с кульминационной сценой поэмы Пушкина “Медный Всадник”. Сам город, наполненный историческими воспоминаниями, подсказывал писателям разных эпох сходные темы.

Рязань

О заглавии рассказа Ф.М. Достоевского “Бобок”

*В.П. ВЛАДИМИРЦЕВ,
доктор филологических наук*

Ф.М. Достоевский давал своим произведениям прозрачные, хотя и многосмысленные заглавия. Но однажды поставил в тупик книгочеев: поместил в “Дневнике писателя” за 1873 год рассказ под непроницаемым названием “Бобок”.

Никто из специалистов по Достоевскому не ответит, даже приблизительно, как понимать заглавное слово “Бобок” в художественном плане всего произведения. Почему “бобок” / “Бобок”? Ни персонажа, ни зримого предмета, обозначенного таким словом, в “Дневнике писателя” нет. Оно повисло над рассказом бесплотной тенью чего-то первенствующего, но неведомого. Вероятно, поэтому 17-томный “Словарь современного русского литературного языка” (М., 1948–1965) не отметил значения слова “бобок”, найденного Достоевским в речевых недрах России и вызывающе обращенного в заглавие-загадку.

“Бобок” – рассказ рассказов Достоевского. В нем все дерзновенно. Прежде и более всего эпатирует бредовый покойницкий сюжет: на петербургском кладбище случайный подгулявший посетитель слышит загробные беседы мертвецов. По современной квалификации, ужасик XIX века. Ключ к его сокрытому генезису лежит в смысловых глубинах заглавия. Но даже М.М. Бахтин, исследовавший художественный состав “Бобка” (Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 234–241), не придал этому вопросу никакого значения. Упущение? И большое: название рассказа, сопряженное с его основными концептами, остается непроясненным.

У рассказа два заглавия. Первое – рамочное, общее, “центровое” – “Бобок”. Принадлежит собственно Достоевскому. Второе – внутреннее, подчиненное (не путать с подзаголовком) – “Записки одного лица”. Якобы чужое, не от Достоевского. В кратком предисловном тексте между заглавиями Федор Михайлович отмежевывается от “Записок” (пушкинский прием из “Повестей покойного И.П. Белкина”): “Это не я; это совсем другое лицо” (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т.

Л., 1980. Т. 21. С. 41; далее – только том и стр.). В двузаглавности таится намек на художественное двоемирие рассказа, где реальное (посюстороннее) совоплощается с ирреальным (потусторонним).

Редкостное для литературного речевого обихода словечко “бобок”, которое Достоевский наделил эстетическим правом быть не только ключевым, но и решающе-заглавным словом рассказа, играет в “Записках” у “одного лица” совсем другую, вроде бы ничтожную, роль: “*конечно бессмысленного*” “словца” “про какой-то бобок” (21, 51; курсив наш. – В.В.). “Словцом” грезит подвыпивший визитёр кладбища, незадачливый полулитератор-полужурналист Иван Иванович, то есть “одно лицо”, повествователь-рассказчик “Записок”.

Двузаглавное оформление рассказа разводит два функционально разных понимания “словца” “про какой-то бобок”. В литературно-жизненном словоупотреблении у празднующегося столичного борзописца Ивана Ивановича, который не бывает “когда-нибудь трезвым” (21, 41), “словцо” простодушно объявлено “конечно бессмысленным”. Достоин удивления, что в комментариях академического 30-томника версия Ивана Ивановича касательно “бобка” безоговорочно разделяется (21, 408). Между тем автор “Дневника писателя” озаглавил эпатажный рассказ “Бобком” вовсе не из-за бессмысленности этого слова. Напротив, Достоевский художнически воспользовался известным ему народно-мистическим смыслом “словца” и на его основе создал беспримерное произведение.

Скорее всего, нам не дано узнать, при каких этнографических обстоятельствах Федор Михайлович услышал и запечатлел в своей художественной памяти словечко “бобок”. Утверждать следует одно: существительное *бобок* из рассказа под тем же наименованием восходит к народно-диалектной или арготизированной речи. Обобщенно – к речевым этнографизмам, которыми питается и живет фольклорная субстанция.

Зная абсолютную приверженность Достоевского к реалиям переживаемой им эпохи, можно с высокой степенью вероятности полагать: писатель встретил “словцо” в этнографическом контексте, сопредельном тому, какое имеем в рассказе “Бобок”.

Разгадку заглавия подсказывает, – правда, издалека, – Словарь В.И. Даля, с его этнографо-психологическими подробностями из жизни русского слова. В статье “Бобъ” Даль сообщает: “На бобах ворожили”. Прошедшее время глагола – дотошному Далю можно доверять – указывает на угасание к середине XIX века некогда очень популярной бобовой ворожбы. Обычай памятно поддерживался в языке еще не совсем архаичными фразеологическими оборотами и соответствующими – интегрирующими их – культурно-бытовыми представлениями: “Чужую беду на бобах разведа...”; “Кинь бобами, будет ли за нами?”; “Ходит, да походя, бобы разводит”; “Раскидывай (разводи) на бобах”

(Даль В.И. Толковый словарь. М., 1978. Т. I. С. 101). В раннем рассказе Достоевского “Честный вор” (1848) сохранился характерный речевой этнографический реликт: “Начнешь ему про огурцы, а он тебе на бобах откликается” (2, 86). Генерал Иволгин в романе Достоевского “Идиот” (1868, за пять лет до рассказа “Бобок”) тоже острит каламбуrom “бедных людей” Петербурга: “Приятнее сидеть с бобами, чем на бобах...” (8, 418). И уточняет: в 1844 году такой остротой он “возбудил восторг ... в офицерском обществе...” (Там же). Уточнил не зря, в те времена на бобах еще ворожили, но им уже мало кто верил.

Словесно-этнографические “бобовые” материалы из “Честного вора”, “Идиота” и сквозной поговорочный “бобок” Ивана Иваныча в “Записках одного лица” литературно-преемственно связаны и образуют единую модель художественных отношений в характерологии и сюжетике Достоевского. Дело в том, что литературно-фразеологический интерес писателя к “бобам” питали культурно-бытовые, то есть народно-психологические и мистические источники (гадательный комплекс ворожбы на бобах). Бобовое зерно, боб или бобок (кстати, слово “бобо” дославянское и встречается в древнейшей мифологии – см.: Будилович А. Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным исследования в области лингвистической палеонтологии славян. Ч. I. Киев, 1878. С. 93, 315) – главный гадательный атрибут и заклинательное слово из бобовой ворожбы, с которой опосредованно-генетически, через язык, связаны и словосочетание “откликается на бобах” (“Честный вор”), и бонмо генерала Иволгина (“Идиот”), и, тем более, “бессмысленное” “словцо” Ивана Иваныча.

Ворожба, гадание сродни колдовству, волхованию, это область тайного, вторжение в мир нечисти. Слово *ворожить* происходит от “ворог”, “враг” (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. I. С. 353), а это одно из наименований нечистой силы. Гадание необходимо обнаруживает связь явлений природы (бобы из этого ряда) с судьбой человека и участие в ней духов и душ умерших; гадательные обряды и слова (тот же *бобок*) способны открывать и распознавать тайный смысл знаков, подаваемых из “иных миров”. Раскидывание, бросание бобовых зерен, угадывание по их виду и расположению судьбоносных знаков и синхронное речевое действие (наподобие троичной приговорки “Бобок, бобок, бобок!” в завязке рассказа “Бобок”) – бывший в широком употреблении в Европе и России магический гадательный обряд (подробнее в моей книге «Поэтика “Дневника писателя” Ф.М. Достоевского: этнографическое впечатление и авторская мысль». Иркутск, 1998. С. 53–54).

...Рассказчик Иван Иваныч трижды (троекратность обрядового, разговорного и т.п. свойства) в суете журналистского быта слышит “подле” (себя) и повторяет “странное” и совсем будто неуместное словечко “бобок” (21, 43). Однако “словцо” исполнено принудительной этногра-

фической логики: оказывается чудесным разрешающим знаком и служит паролем и прелюдией к инициированному им же слуховому кладбищенскому действию. Достоевский не мистифицирует читателя – наоборот, невероятные приключения “одного лица” обставляет найдостоверными бытовыми подробностями, психологически и этнографически мотивируя каждый момент сюжета. Три раза (триада магии) примерещившийся “бобок” мгновенно “заводит” Ивана Ивановича: “Какой такой бобок? Надо развлечься” (Там же). И в “Записках”, опять-таки мгновенно, появляется нарочитый фабульный оксюморон: “Ходил развлекаться, попал на похороны. Дальний родственник” (Там же).

Выясняется, что “бобок” и “похороны” (кладбище) неким образом – заведомо и мистически – связаны между собой. Иначе говоря, маршрут “развлечения” “бобкослышащего” героя должен был столкнуть его с чем-то исключительным. Иван Иванович интуитивно знает и проговаривается об этом. “Случай” (нечаянное участие в похоронах и оказалось искомым “развлечением”) называет “экстренным”, то есть чрезвычайным и срочным, и восклицает при этом: “Лет двадцать пять, я думаю, не бывал на кладбище; вот ещё местечко!”. Восклицание, с не подходящим вроде бы “случаю” фамильярным диминутивом “местечко!”, интимизирует отношения Ивана Ивановича с объектом “развлечения”. Всё это – подготовка-экспозиция к главному акту “развлечения”.

Пока в церкви длилась служба отпевания, “Мертвецов пятнадцать наехало” (Там же), герой вышел “побродить за врата” (кладбища), наткнулся на “недурной ресторанчик”, где “закусил и выпил” (Там же). После прощания с умершими (“В лица мертвецов заглядывал с осторожностью...” – Там же) “участвовал собственноручно в отнесении гроба из церкви к могиле” (21, 44).

На заключительном отрезке похоронной церемонии Иван Иванович вновь (вслед “ресторанчику”) фатальным образом отступил от требования заупокойного обряда, имеющего священно-очистительное значение: “На литию (моление о душе усопшего. – В.В.) не поехал. Я горд (...): чего же таскаться по их обедам, хотя бы и похоронным?” (Там же).

Прегрешения “гордости” (один из смертных грехов) не остались без кошмарных последствий. Сам не понимая, зачем он так поступил, герой “остался на кладбище” (не зов ли “бобка” к дальнейшим “развлечениям”?) – “сел на памятник и соответственно задумался” (курсив наш. – В.В.), “забылся”, “даже прилег на длинном камне в виде мраморного гроба” (Там же) – действие, кощунственно параллельное где-то творимой “литии” по “дальнему родственнику”. В нечистых, по народно-языческим воззрениям, местах последнего упокоения он стал как бы своим, притворился отверженным от христианского мира живых. Дальнейшее “развлечение” не замедлило наступить. “И как это так случилось, что вдруг начал слышать разные вещи? (...) Стал внимательно вслушиваться” (Там же). Следует покойницкий эпатаж, не нару-

шающий психологической и этнографической правды повествования: грешник и отступник Иван Иванович слышит невероятный, фантастический разговор мертвых, “духов” (21, 44–45). Это драматический шедевр Достоевского, родственник “маленьким трагедиям” А.С. Пушкина.

В сцене разговора мертвецов, которых Иван Иванович, уже по-своему, продолжая тон отпавшего диминутива “местечко!”, называет “миленькими” (21, 53), сходятся два мира, “тот” и “этот”, и в психоидеологическом художественном обороте рассказа они не поддаются четкому и полному разграничению. По ходу дела “словцо” “бобок” – после заглавия и экспозиции – ещё не раз (всего 11 словоупотреблений) являет себя в сюжетослагающих обстоятельствах произведения и образует сквозную лейтмотивную “бобковую” линию. Художественно заостряется самый, пожалуй, знаменательный факт: “словцо” ведоמו и беседующим о жизни и смерти мертвецам. Среди них есть «один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он все еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно, бессмысленное про какой-то бобок: “Бобок, бобок”, – но и в нем, значит, жизнь все еще теплится незаметною искрой...» (21, 51). Контекст доказывает: “бобок” – знак жизни в “нежизни”, или, наоборот, “нежизни” в жизни; это словесно-игровая маркировка границы между двумя соседствующими мирами. Но последний смысл “словца” все-таки в его соотношении с потусторонней вечностью. Об этом знающем молвит покойный циник барон Клиневич: “...и в конце концов – бобок” (Там же), то есть конец жизни, отправка в Лету, небытие.

Воружейно-заговорное (имеем право так считать) “словцо” “бобок” могущественно, как всякое чародейное слово из обоймы волкования. Через него “одному лицу”, его ушам и не всегда трезвой фантазии открывается загробное подобие миру существу – демонологический двойник посюстороннего. Это открытие еще раз, уже окончательно, объясняется и санкционируется конечной репликой на объявленную в завязке “Записок” тему: “Бобок меня не смущает (вот он, бобок-то, и оказался!)” (21, 54).

Что же в результате? Истари предубеждены: Достоевский-художник, мол, далек от быта. Это не совсем так. Вернее, совсем не так. Федор Михайлович, как никто другой (конкуренцию составить может лишь А.П. Чехов), умел “растворять” быт в поэтике. Основание изумительного по силе выдумки рассказа “Бобок” – этнографическая (бытовая) интрига заглавного “словца”, сокровенная народно-обрядовая коннотация которого дошла до нас только благодаря “бытосодержащей” поэтике Достоевского.



*“Silentium” Ф.И. Тютчева
в художественном мире Ф.М. Достоевского*

А.Г. ГАЧЕВА

В истории литературы существуют такие соответствия и взаимосвязи, реальность которых не видима современниками, а подчас и ближайшими потомками, и только в перспективе времени они проступают все яснее и отчетливее, раскрываясь во всем богатстве своих значений и смыслов. Именно такой была судьба темы “Ф.М. Достоевский и Ф.И. Тютчев”, близость которых в представлении о мире и человеке, миссии России и задаче истории долгое время оставалась вне поля внимания читателей и исследователей. Пожалуй, главной причиной этого была скудость внешних, биографических контактов писателя и поэта. Казалось невероятным: жили в одну эпоху, в одном городе, столько возможностей для встреч, друзей, знакомых имели общих (вспомнить хотя бы А.Н. Майкова, Н.Н. Страхова, Я.П. Полонского) – и ни общения регулярного, ни переписки, – так, несколько отзывов друг о друге (впрочем, всегда похвальных). Но то-то и примечательно, что взаимодействие писателя и поэта возникало не на уровне жизни и поведения, а на уровне мысли и творчества, мироощущения, “мирообраза” – пользуясь удачным выражением Я.О. Зунделовича (Зунделович Я.О. Этюды о лирике Тютчева. Самарканд, 1971). Достоевский и Тютчев соприкасаются как художники-философы; не случайно писатель называл Тютчева первым русским поэтом-мыслителем и неоднократно подчеркивал важность для литературы “мысли художественной”, облеченной в живую плоть образа, пронизанной токами чувства, питающей не только ум, но и сердце человека.

Мир лирики Тютчева стал, можно сказать, одной из исходных доминант художественно-философской концепции Достоевского (так же, как и мир Пушкина, Шиллера и т.д.). На основе выработанных здесь идей, сформулированных “вечных вопросов” о мире и человеке, писатель выстраивал свой уникальный синтез, свою творческую вселен-

ную, иногда соглашаясь и веря уже открытому и достигнутому, иногда – переосмысляя его, иногда – полемизируя и опровергая.

Среди стержневых образов и тем, в которых родство Достоевского и Тютчева особенно ощутимо, – тема природы (в творчестве обоих явлен тип особого философского, “метафизического” пейзажа), тема любви (любовь как “поединок роковой”), наконец, тема антропологическая, особенно значимая для русской мысли XIX века. В творчестве Достоевского обнажается особый онтологический поворот проблемы человека, который был воспринят писателем из русской философской лирики (ее вершина – Тютчев) и внесен им в отечественную романную традицию: человек – субъект не столько исторического, сколько природного, космического процесса, и задача в том, чтобы определить в бытии, в тянущейся от века цепи созданий место и роль существа сознающего. Отсюда – столь напряженное и в русской философской лирике, и у Достоевского – внимание к природе человека, к ее глубинам, к ее противоречиям и дисгармониям. Отсюда и своеобразная, отличная от русского романа “до Достоевского” интерпретация темы “лишнего человека”: человек здесь лишний не просто “среди своих”, в обществе и государстве, он – вместе со всем человечеством – лишний в природе и космосе, “всему чужой и выкидыш” (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30-ти тт. Т. 8. Л., 1973. С. 352. Далее – только том и страница) на пиру жизни (Тютчев – “Бессоница”, “Святая ночь на небосклон взошла”, “Певучесть есть в морских волнах” и т.д., Достоевский – образ Ипполита, “самоубийцы-материалиста” из главы “Приговор” в “Дневнике писателя” 1876 г.). Переключки с Тютчевым являет у Достоевского и тема “современного человека”, “героя времени”, основную черту которого писатель, вслед за поэтом (см. стихотворение “Наш век”), полагает в “муке безверия”.

Особенно интересна судьба тютчевских цитат в романах и публицистике Достоевского. Писатель часто использует эти цитаты не столько в качестве удачной краски к тому или иному романному образу (как, например, стихотворение Пушкина о “рыцаре бедном” в “Идиоте”), сколько для подтверждения и развития определенной идеи. Тютчевские строки становятся как бы смысловым ядром сцены, сюжетного мотива, рассуждения. Вспомним цитату из “Песни радости” Шиллера в переводе Тютчева в разговоре двух братьев – Алеши и Дмитрия Карамазовых, из которой – как из семени – родится дума Дмитрия о человеке, об “унижении глубоко”, о падении его и о том, как восстановить ему в себе погранный образ Божий. Вспомним тютчевское “Как грустно полусонной тенью / С изнеможением в кости / Навстречу солнцу и движенью / За новым племенем брести”, что вплетается в черновые наброски к исповеди Версилова (“Подросток”): “русский европеец”, носитель высшей “культурной идеи” не может смириться с тем, что разрыв поколений вечен и непреложен, что рано или поздно, “покорный обще-

му закону”, обречен он покинуть авансцену истории, уступая место “новым людям” с их новыми – но всегда ли глубокими и истинными? – идеалами, когда ни он им уже не нужен (“обломок старых поколений” – какое точное тютчевское слово!), ни они ему не понятны. Вспомним, наконец, стихотворение “Эти бедные селенья...” с его образом “нищей и скудной” русской земли, таящей в себе истинные сокровища духа (“Удрученный ношей крестной, / Всю тебя, земля родная, / В рабском виде Царь Небесный / исходил, благословляя”). Образы этого стихотворения не раз возникают в размышлениях Достоевского о России и ее значении в человечестве, становясь своего рода художественно-смысловой доминантой учительного слова писателя.

О каждой из тютчевских цитат у Достоевского можно писать отдельное литературно-философское эссе: точки соприкосновения двух художественных миров пульсируют смыслами. Попытаемся приоткрыть глубину этих смыслов на примере лишь одного стихотворения – знаменитого тютчевского “Silentium”.

По частоте упоминаний у Достоевского поэтический фрагмент “Silentium”, пожалуй, уступает лишь стихотворению “Эти бедные селенья”. Его цитируют и романые герои: Подросток (16, 68), Дмитрий Карамазов (14, 423, 425), и сам Достоевский – в “Дневнике писателя” (23, 326), “Записной тетради 1875–1876 гг.” (24, 132), переписке (29/II, 102). Во всех этих случаях, кроме романа “Братья Карамазовы”, приводится строка “Мысль изреченная есть ложь”, каждый раз завершая, утверждая, резюмируя высказывание или ситуацию.

Достоевский отнюдь не случайно цитирует именно эту строчку. И не потому лишь, что она афористична и как нельзя лучше вплетается в словесную ткань текста. В ней – глубинная и оригинальная идея тютчевского стихотворения, выделяющая его из бесконечного ряда романтических вздохов о роковом разладе между “я” и “другими”, об одиночестве возвышенной души, не находящей отклика в бесчеловечном мире. Трагедия невысказанности и непонимания проистекает, по мысли Тютчева, не из причин субъективно-психологических, мешающих “сердцу высказать себя”, а другому понять эту исповедь. Ее исток – в невозможности облечь в слово рождающуюся в душе мысль, в разрыве между внутренним и внешним, содержанием и формой, в узости вербального и логического перед неисчерпаемостью, синтетичностью сокровенной жизни личности, где самый процесс мышления необходимо эмоционален (“Пускай в душевной глубине встают и заходят оне”), питается теплотой сердечной сферы, в нем участвуют и интуиция, и память.

Достоевский подхватывает мысльобраз “Silentium”: «И если б *особь* каждая, – читаем в подготовительных материалах к “Дневнику писателя” – могла проявиться вся, но она не может, ибо мысль изреченная есть ложь» (24, 132). Этот закон несоответствия между внешним и вну-

тренним писатель применяет не только к каждой отдельной личности, но и к жизни вообще, что не может быть объята плоским человеческим словом: «Да, правда, что действительность глубже всякого человеческого воображения, всякой фантазии. И несмотря на видимую простоту явлений – страшная загадка. Не от того ли загадка, что в действительности ничего не кончено, равно как нельзя приискать и начала – все течет и все есть, но ничего не ухватишь. А что ухватишь, что осмыслишь, что отметишь словом – то уже тотчас стало ложью. “Мысль изреченная есть ложь”» (23, 326).

Ход мысли Тютчева, стремившегося отыскать всеобщую, “бытийную” причину трагедии непонимания и одиночества, коренящуюся в самой основе наличного порядка вещей, оказался, как видим, глубоко близок писателю. Ведь и он в своей думе о человеке идет от психологического к онтологическому – не случайны его слова о том, что он не “психолог”, а “лишь реалист в высшем смысле” (27, 65). И вопрос “Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?” становится в его творчестве частью главного, фундаментального вопроса о несовершенстве бытия в целом.

Начиная с известной записи у гроба первой жены (от 16 апреля 1864 г.), Достоевский неоднократно указывает на то, что смысл истории человечества – в движении к Царствию Небесному, к идеалу соборного, синтетического единства, единства в Боге, где все будут “лица, не переставая сливаться со всем, не посягая и не женясь, и в различных разрядах”, где “всё себя тогда почувствует и познает навечно” (20, 174–175). Соборность – особый, высший тип связи личностей, при котором они существуют “нераздельно и неслиянно”, уникальность и самобытность каждого “я” не означает его замкнутости, отъединенности от целого и уже невозможно тютчевское “молчи, скрывайся и таи”. Писатель не дерзает предсказывать в точности, “как воскреснет тогда каждое я – в общем Синтезе” (20, 174). Он лишь убежден в том, что “в будущей, райской жизни” человек переродится духовно и физически, иной станет жизнь его сознания, изменяясь и формы контакта с другими людьми.

По Достоевскому, рациональное мышление (“ум”), одна из главных форм, в которую облекается в человеке деятельность сознания, не является сущностным, неотъемлемым свойством его природы. Оно “соответствует только теперешнему организму”, “переходному состоянию” человечества (может быть, не в последней степени потому, что требует для себя обязательного посредника – слово, а “мысль изреченная есть ложь”). Более того, одностороннее развитие, гипертрофия ума, не поддержанные в достаточной мере развитием душевной, эмоциональной сферы – именно благодаря ей личность оказывается способной к непосредственному, живому самораскрытию, – калечат человека, затрудняют общение с другими людьми, ведут к отъединению от мира и одиночеству, к уединению и... молчанию. “Я ни с кем не водил-

ся и даже избегал говорить и все более и более забивался в свой угол” (5, 124) – пишет о себе “подпольный парадоксалист”. “Уединяется” и молчит до времени и Подросток, пестуя в душе “идею о Ротшильде”. Он, кстати, особенно остро чувствует несоответствие высказанного слова внутреннему содержанию личности: “Как это так выходит, что у человека умного высказанное им гораздо глупее того, что в нем остается? Я не раз замечал за собой и в моих словесных отношениях с людьми за весь этот последний роковой год и много мучился этим” (13, 6). – Ср. в черновиках к роману: “Действительно, я заметил, стоит высказаться, и вдруг увидишь нелепость. Мысль изреченная есть ложь” (16, 68).

Уединение, “обособление”, замкнутость личности в душевном и духовном подполье составляют, по Достоевскому, характерную черту не только современной ему эпохи (вопрос этот встает и в “Записках из подполья”, и на страницах “Дневника...”), но и всего переходного и болезненного этапа цивилизации (если воспользоваться предложенной писателем в набросках статьи “Социализм и христианство” (1864) трехчленной схемой человеческой истории), на котором теряется прежняя гармония “первобытного патриархального” уклада, с его общинным, родовым сознанием, не допускающим гипертрофии индивидуального “я”. Здесь развивается именно “личное сознание”: мыслью и духом человек выделяется из природной “роевой” жизни, из бессознательной “гармонии целого”, постигает трагизм несовершенного, смертного существования, невозможного “без непрерывного поядения друг друга” (8, 344); сознает собственную уникальность по отношению к другим людям и невозможность абсолютного взаимопонимания с ними, ибо “чужая душа – потемки”, а “мысль изреченная есть ложь”. Но это, действительно, момент лишь переходный. Следующим же этапом, по убеждению Достоевского, станет преодоление “полосы отчуждения”, отделяющей человека от ближних и дальних, от мира в целом, но не путем “погашения сознания”, регрессии до стадии нерасчлененно-родового единства, а через преобразование природного и человеческого естества, где не последнее место занимает как раз полнота нравственного, религиозного самосознания, влекущая личность отдать себя “целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно” (20, 172) и в этой жертвенной, исполненной христианской любви “отдаче себя” достичь высшего, соборного синтеза, жизни “со всеми и для всех”.

Итак, принцип “обособления” действует лишь на определенном отрезке истории, он даже необходим для дальнейшего, духоносного и сознательного, развития человеческого рода. Однако совсем иначе оценивает Достоевский те случаи, когда личность не только не стремится преодолеть свою отделенность с людьми и миром, но, напротив, еще больше уходит в себя, “уединяется” и “молчит”. “С двенадцати лет, – признается Подросток, – я думаю, то есть почти с зарождения правиль-

ного сознания, я стал не любить людей. Не то что не любить, а как-то стали они мне тяжелы. Слишком мне грустно было иногда самому, в чистые минуты мои, что *я никак не могу всего высказать даже близким людям*, то есть и мог бы, да не хочу, почему-то удерживаюсь; что *я недоверчив, угрюм и несообщителен*" (13, 72) (курсив мой. – А.Г.). Потому-то он и "искал уединения" и учился "жить в себе самом", пес-туй в душе "идею".

Такое уединение и молчание, по мысли Достоевского, пагубно для человека. Прежде всего потому, что в нем – сильный соблазн гордыни – даже если питается оно порой глубоким отчаянием ("Мне не дают... Я не могу быть добрым!") (5, 175)). Гордыня – в одиночестве Ставрогина. "На чувстве гордости", "формулировавшейся в идее уединения" (16, 105), основаны "рогшильдовские" мечты Подростка. "Горд" и Иван Карамазов ("Брат Иван сфинкс и молчит, все молчит", – говорит о нем Дмитрий. Молчит и "таит идею" (15, 32)). Особенно же опасно подобное "молчи, скрывайся и таи" для тех "усиленно сознающих" натур, в которых живет ложная идея. Развиваясь лишь во внутреннем мире героев, не имея выхода вовне, она вырастает огромной всепоглощающей химерой, как раковая опухоль перерождает мозг и сердце. Не случайно у Достоевского так часто встречается выражение "съела идея".

Уединение и молчание, замкнутость героев в собственном внутреннем мире писатель в ряде случаев уподобляет "отшельничеству". "Имея в уме нечто неподвижное, всегдашнее, сильное, которым страшно занят – как бы удаляешься тем самым от всего мира в пустыню" – размышляет Подросток (13, 79). Только это отшельничество как бы с обратным знаком. Если христианский подвижник выдерживал подвиг пустынножительства с покаянием и смирением, если в одинокой пустыне он молился за весь мир и, окончив свой подвиг, возвращался к людям, служа им высшей любовью, то у того же Подростка ("я и так знаю сущность твоей идеи – слышит он от Версилова; во всяком случае, это: Я в пустыню удаляюсь..." (13, 90)) да и у самого Версилова, несмотря на все его "вериги", доминируют чувства суетные и греховные – недаром бросает ему Катерина Ивановна в черновиках к роману: "Ступайте в пустыню, служите Богу в веригах, которые вы мне показывали, и утолите тем всю гордость свою" (16, 347).

Исходом из состояния уединенной "одержимости" становится, как то ни парадоксально, именно слово. Одна из лейтмотивных ситуаций в черновиках "Подростка": герой высказывает свою идею Лизе и Версилу – и монументальная, величественная мечта о гордом и скрытом могуществе, рождаемом всесилием "капитала", блекнет, съеживается, выглядит подленькой и пошлой. Подросток злится, досадует – на себя "О, я ни за что не хотел говорить" (16, 72), на собеседника – но факт остается фактом: "Идея потускла" (16, 72). "Может, я очень худо сделал, что сел писать, – размышляет он в другом месте романа, – внутри без-

мерно больше остается, чем то, что выходит в словах. Ваша мысль, хотя бы и дурная, пока при вас, – всегда глубже, а на словах – смешнее и бесчестнее” (13, 36). Узость и нищета слова, схватывающего лишь логический каркас идеи, нарушающего богатство ее проявлений в душе героя, необходимую полноту субъективности, оказываются спасительными тогда, когда дело касается убеждений ложных, как бы выводят их “на чистую воду”, обнажают их коренные изъяны.

Достоевский убежден, что разлад между “я” и “другими” нельзя преодолеть “уединением”. Напротив, в условиях душевной закрытости, “обособленности”, “непрозрачности”, в условиях принципиальной невыразимости внутренней жизни личности, ее интеллектуальной и эмоциональной глубины, задача человека – именно в стремлении “высказать себя” (и в то же время – понять другого), в усилии приблизиться к той полноте соборного единства всех, которая в провидческой мечте человечества составляет венец его земного исторического пути. Потому-то в романах Достоевского так много исповедей и диалогов: сквозь них проходят главные этапы судеб героев, в них стяжают они “необходимое условие” спасения – другое дело, хватит ли им сил, решимости и терпения довести этот труд до конца, восстановить в себе погибшего человека.

Самый акт исповеди у Достоевского всегда неоднозначен и сложен, а порой мучителен и драматичен. Рождается он в столкновении порывов самых разных, даже до противоположности. Яркий пример тому – исповедь Ипполита на террасе дома Лебедева. В ней и надежда на понимание, и жажда единения с людьми (“ему хотелось в последний раз с людьми встретиться, их уважение и любовь заслужить” (8, 354)), и детское тщеславие собственным мужеством, и наивная, мальчишеская фантазия (“Только ему, наверно, хотелось, чтобы все его обступили и сказали ему, что его очень любят и уважают, и все бы стали его очень упрашивать остаться в живых” (8, 327)). И в то же время – стыд того, что “унизил себя своим объяснением” (8, 327), внезапно вспыхивающая ненависть к слушателям – свидетелям его слабости, его “позора”, ненависть за то, что все они здоровы и счастливы, а он обречен умереть. При этом чем сильнее накал “отрицательных” чувств в душе героя, чем слабее в его речах собственно исповедальная, покаянная нота, тем меньше у него шансов быть услышанным и понятым другими, тем дальше он от своего спасения.

Говоря о развитии у Достоевского темы “Silentium” (“Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?”), нельзя не вспомнить эпизод допроса Мити в “Братьях Карамазовых”, когда на деловито-казенные вопросы следователя и прокурора льется поистине “исповедь горячего сердца”: о всей той муке, что вынесла душа в последние роковые дни, о судорожных попытках достать деньги, об обмане купца Самсонова, о безмерной ревности, об отчаянии, охватившем, наконец, это страстное

сердце, – а те ничего не понимают и только цепляются к мелочам. “Вы меня ужасаете непониманием”, – восклицает Митя и все же, со слабеющей уже надеждой быть понятым, донести до своих мучителей правду о случившемся, продолжает рассказ. И вновь бессмысленные, “крючкотворные мелочи” – и уже досада и боль охватывает героя: ничего не видят, не чувствуют эти “слепые кроты и насмешники”, – душа стыдится своих излиятий: “Господа, с вами буквально нельзя говорить!”, “Господа, вы огадили мою душу!” (14, 421, 424, 437). В конце концов в уме его рождается грустное убеждение: «Этот мальчик Николай Парфенович, с которым я еще всего только несколько дней тому говорил глупости про женщин, и этот большой прокурор не стоят того, чтоб я им это рассказывал, (...) позор! – “Терпи, смирайся и молчи”, – заключил он свою думу стихом...» (14, 423).

Почему “Терпи, смирайся и молчи”, а не так, как у Тютчева: “Молчи, скрывайся и тай”? Ведь точная цитата, пожалуй, лучше отразила бы мысль Митеньки о душевной глухоте его собеседников, о бессмысленности всякого откровенно-интимного слова, о том, что самым достойным выходом из ситуации было бы просто молчание. Но у Достоевского здесь все не случайно. В этом “Терпи, смирайся и молчи” на первый план выдвигаются терпение и смирение, главные добродетели христианской души. И молчание здесь не “гордое”, не такое, как у Тютчева (“Лишь жить в себе самом умей”, “Любуйся – ими и молчи” и т.п.), а именно смиренное: “молчи”, не обвиняя людей за их непонимание, они несовершенны так же, как и ты сам, и все же попытайся пробиться к их сердцу. Дмитрий после тютчевского стиха скрепляется, “чтобы продолжать далее”, и затем во второй раз, вновь потеряв терпение, раскричавшись и развозмущавшись, что, мол, “права даже не имеете не верить” “благороднейшим порывам души”, вдруг обрывает себя теми же строками: “молчи, сердце. Терпи, смирайся и молчи!” (14, 425).

Факт этот очень важен. Вспомним, что здесь, в Мокром, начинается переворот в сознании героя, что всего через несколько часов во сне он увидит “дите”, а потом, уже в конце романа, скажет Алеше: «За “дите” и пойду», “пострадать хочу” (15, 31). Крестный путь страдания открывается Мите, вынести его можно лишь терпением, смирением и любовью, и вот ему первое указание – “Молчи, сердце. Терпи, смирайся и молчи”.

Уединение и молчание – упорство на путях зла. *Исповедь* – начало пути к свету. В художественном мире Достоевского есть еще и *проповедь* – книга “Русский инок”, где звучит учительное слово Зосимы – о любви к Божьему творенью, “соприкосновении мирам иным” и “вере до конца”. Рождено оно в сердце, молитвенно устремленном к Богу, стяжавшем веру и любовь к ближним. И в этом благодатном, спасительном слове “мысль изреченная” перестает быть ложью, становится

раскрытием должного пути, исповеданием истины, той высшей евангельской истины, что неразрывна с благом и явилась миру в образе воплощенного Христа.

Слово истины рождается и в душах других героев писателя, как тех, в которых воплощен для него идеал “положительно прекрасного человека” (князь Мышкин, Алеша Карамазов), так и тех, кого Достоевский возводит к архетипу “великого грешника”. Последние еще только проходят свой путь “через большое горнило сомнений” (27, 86), мучатся своим безверием и жаждут веры истинной, животворящей. Именно эта жажда веры и дает им возможность в высшие их минуты постичь и идеал, и цель человека на земле, и они проповедуют эту истину другим, пусть даже и сами пока не могут соответствовать своей проповеди, жить по той высшей правде, о которой глаголют. Вспомним речи Шатова (какая говорящая фамилия! – еще не утвердился герой “на камени” веры, еще в душе его “разброд и шатание”) в черновиках к “Бесам”. Говорит он о смысле боговоплощения, о том, что вочеловечение Спасителя стало залогом обожения человеческого рода, залогом спасения и преображения земли: “Да Христос и приходил затем, чтоб человечество узнало, что знания, природа духа человеческого может явиться в таком небесном блеске, в самом деле и во плоти, а не в одной только мечте и идеале, что это и естественно и возможно. Этим и земля оправдана” (11, 112). Вспомним статью Ивана Карамазова о “церковно-общественном суде”: в ней провозглашена идея обращения государства в церковь, служащую “восстановлению погибшего человека” – и эту идею о преображении человеческого “общества как союза почти еще языческого во единую вселенскую и влаждующую церковь” (14, 61) подхватывает и углубляет сам старец Зосима.

Да, ситуация “мысль изреченная есть ложь” – для Достоевского еще и ситуация безверия, богооставленности, когда душа человеческая закрыта для животворящего и преображающего Слова Божия, для откровения высшей, спасительной правды. Стоит только признать, что мысль изреченная *всегда, неотвратимо, фатально* является ложью – и неизбежен вывод Сальери: “Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет – и выше” с вытекающим из него “все позволено”. Представьте себе, хоть на мгновение, что не только в слове человеческом, но и в Слове Божием – Слове, “сотворившем небо и землю и вся живущая на ней” (“и сказал Бог: да будет...” – знаменитая формула книги Бытия) – “мысль изреченная” оказалась бы ложью, замысел не сошел с воплощением? Ведь тогда и вся земля, “и все счастье это, и вся любовь, и все человечество” (23, 147) – лишь жалкая *ошибка творения*, неудачная *проба пера*, в бессмертии которой, по большому, вселенскому счету, нет никакого смысла – не заслуживает она ничего, кроме геенны огненной и “ледяных камней”, которые так мучат Подростка (“Земля обратится в свою очередь в ледяной камень и будет летать в

безвоздушном пространстве с бесконечным множеством таких же ледяных камней” – 13, 49).

Вывод о бессмысленности и тщете творения неизбежен для тех персонажей, которые безнадежно и безысходно бьются в тисках позитивистского, атеистического сознания. “Ну что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет?” (23, 147) – восклицает “самоубийца-материалист”, герой главки “Приговор” в “Дневнике писателя”. Стоит только допустить подобную мысль – и рождается в душе глухое отчаяние, отчаяние в спасении. Земная жизнь и история лишены всякого смысла, они – лишь морок и “дьяволов водевиль”, а единственным исходом для личности, сознавшей тщету бытия, становится самоубийство (“а так как природу я истребить не могу, то и истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого” (23, 148) – на радость “князю века сего”, “имущему державу смерти”).

Так дилемма “Мысль изреченная есть ложь” – “Мысль изреченная есть высшая правда”, будучи неразрывно соединена с темой веры и неверия, возводится Достоевским к вопросу о смысле жизни, о задаче истории, о конечных судьбах земли и человечества. Присутствие в мире Божественного Слова, которое есть “путь, истина и жизнь”, действительное восприятие и усвоение Его родом людским – для писателя залог благого исхода истории, залог того, что человек, постигнув наконец “всю разумную цель свою на земле” (24, 49), сможет восстановить в себе поправный образ Божий, окажется способным “себя созидать, царство Христово созидать” (11, 177).

Образ истории как *работы спасения*, ведущей к “братству людей, всепримирению народов, обновлению людей на истинных началах Христовых” (23, 50), впервые был развернуто и открыто представлен в июньском выпуске “Дневника писателя” за 1876 год. Очередной раз вторгаясь в многолетний спор славянофилов и западников о России, Достоевский полагает ее назначение во “всеслужении человечеству”, в том, чтобы раскрыть народам Европы идеал будущего, совершенного устройства людей – не на началах принуждения и вражды, соперничества и взаимной розни, а в духе христианского братства, родственности и любви (как тут не вспомнить знаменитое четверостишие Тютчева из стихотворения “Два единства”: «”Единство, – возвестил оракул наших дней, – Быть может спаяно железом лишь и кровью...” Но мы попробуем спаять его любовью, – А там увидим, что прочней...»).

И вот спустя месяц после выхода июньского “Дневника...” в письме к Вс.С. Соловьеву Достоевский так комментирует главу “Утопическое понимание истории”, в которой и был напрямую высказан его идеал: «Я никогда еще не позволял себе в моих писаниях довести *некоторые* мои убеждения до конца, сказать *самое последнее слово*. (...) И вот я

взял, да и высказал последнее слово моих убеждений – мечтаний насчет роли и назначения России среди человечества, и выразил мысль, что это не только случится в ближайшем будущем, но уже и начинает сбываться. И что же, как раз случилось то, что я предугадывал: даже дружественные мне газеты и издания сейчас же закричали, что у меня парадокс на парадоксе, а прочие журналы даже и внимания не обратили, тогда как, мне кажется, я затронул самый важнейший вопрос. Вот что значит доводить мысль до конца! Поставьте какой угодно парадокс, но не доводите его до конца, и у вас выйдет и остроумно, и тонко, и *comme il faut*, доведите же иное рискованное слово до конца, скажите, например, вдруг: “вот это-то и есть Мессия”, прямо и не намеком, и вам никто не поверит именно за вашу наивность, именно за то, что довели до конца, сказали самое последнее ваше слово. (...) Да человек и вообще как-то не любит ни в чем последнего слова, “изреченной” мысли, говорит, что

Мысль изреченная есть ложь» (29(II), 102).

В этом письме – еще один отзвук тютчевского “*Silentium*”, тем более знаменательный, что в нем мы находим ключ к некоторым стержневым свойствам поэтики Достоевского, и прежде всего к его романной *полифонии*. В художественном мире писателя авторская позиция дана не напрямую, рождается в разветвленном идейном многоголосье. Главные свои понимания и прозрения, “о последних вещах” прежде всего, главные свои сомнения, в том числе и проклятые, Достоевский дарит героям, тем самым избегая прямого – в лоб – рассуждения и поучения, превращая читателя из сугубого оценщика и судьи (посмотрим-ка, что нам тут предлагают, какую систему идей?) в соискателя истины, открывая ему возможность духовного сотворчества, ибо, по мысли писателя, прочны лишь самостоятельно выжитые убеждения, рожденные самоотверженным трудом ума и души. Достоевский действует методом художественной демонстрации своих идей: они влетают в канву сюжета, пронизывают собой систему мотивов и образов. И в этом – также своеобразный ответ Тютчеву. Ведь фраза “мысль изреченная есть ложь” – в некотором роде вызов словесному творчеству как таковому: оно фантомно, миражно, неабсолютно, раз не способно выразить идею в цельности и полноте, адекватно воплотить замысел автора. Достоевский блистательно представляет всецельно художественного слова: используя богатую палитру метафор, сравнений, композиционных и сюжетных приемов, облакает мысль в живую плоть образа, придает ей эмоциональную, сердечную глубину.

Впрочем, в эпоху зрелости творчества Достоевский не отбрасывал и прямое публицистическое, открытое слово. Оно звучит в “Дневнике писателя”, а своей кульминации достигает в “Пушкинской речи”, которая не случайно в главных своих идеях напрямую связана с главкой “Утопическое понимание истории” из “Дневника писателя” 1876 года.

Здесь вновь возникает проповедь “великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону” (26, 148). Отбросив всяческие опасения (не поймут, засмеют, опорочат), отбросив и собственный грустный вывод о нелюбви людей к досказанному слову, Достоевский “прямо и просто” исповедует свое кредо. И в этом религиозном дерзании писателя, не отступившего перед юродством проповеди, дерзании фактически перед лицом конца (жить после “Пушкинской речи” Достоевскому оставалось чуть более полугода) – неуничтожимая вера в возможность перерождения человечества, обновления и спасения его, вера и упование, что человек, образ и подобие Божие, способен постигнуть цель своего бытия не только методом проб и ошибок, не только отрицательным опытом, через сны и шишки, набитые на ложных путях, что все же наконец раскроет он ум и сердце Слову Божественной истины, и мир через него достигнет того состояния, когда мысль изреченная перестанет быть ложью, возгорится высшей, немеркнувшей правдой.

Двойник – семантический неологизм Достоевского?

М.М. КОРОБОВА

Имя моё, – сказал незнакомец, – немало не значительно, и мне даже трудно было бы объявить вам оно, потому что, сколько мне известно, оно не существует на русском языке.

А. Погорельский. “Двойник, или Мои вечера в Малороссии”.

...мне, в продолжение всей моей литературной деятельности, *всего более* нравилось в ней то, что и мне удалось ввести совсем новое словечко в русскую речь...

Ф.М. Достоевский. “Дневник писателя”. 1877 год. Ноябрь.

О слове *двойник* содержится ценный материал в заметке В.В. Виноградова, написанной им в 1940-х годах, а опубликованной впервые относительно недавно.

«В русском литературном языке слово *двойник* укрепляется только в двадцатые годы XIX в. (здесь и далее разрядка наша. – М.К.). Значение и круг употребления этого слова определялись влиянием романтизма. Когда вышла книга А. Погорельского “Двойник, или мои вечера в Малороссии”, то критика отнеслась к слову *двойник*, как к нововведению. Так, Ор. Сомов писал в “Северных цветах на 1829 г.”: “По понятию, которое сочинитель связал с этим словом, *двойник* есть та мечта воображения, на которой основалось поверье, будто бы человек видит иногда самого себя в каком-то зловещем призраке”. И в примечании пояснял: “Кажется, сочинитель напрасно выдумывал или прискивал это название: в русском языке существует

Исследование осуществляется при поддержке Российского государственного научного фонда (РГНФ), проект № 00-04-00226а.

уже для сего слово: *стень*, прекрасно выражающее сей призрак или мечту» (Виноградов В.В. История слов. М., 1994. С. 128–129). Ср. “Стѣнь – тень // подобие человека, привидение, и притом бол. в знчн. своего двойника” (Даль В.И. Толковый словарь. М., 1980. Т. IV. С. 351).

Как видим, о слове *двойник* В.В. Виноградовым сказано предельно кратко. Рассмотрим это слово в исторической перспективе, опираясь, в первую очередь, на материалы словарей, а также на тексты художественной литературы, с преимущественным вниманием к произведениям Ф.М. Достоевского.

Данные словарей русского языка о слове *двойник*

Обратимся к имеющимся в нашем распоряжении толковым словарям в таком порядке: толковые словари XVIII–XIX вв.; толковые словари современного русского литературного языка, составленные в XX веке; и, наконец, словари русского языка XI–XVIII вв. (“исторические” словари), также созданные в XX веке.

В словарях нас будет интересовать, главным образом, фиксация лишь того значения слова *двойник*, которое применимо к человеку и которое в самом общем виде может быть сформулировано как “одинаковый, полностью похожий на другого человека”.

Толковые словари XVIII–XIX вв.

“Словарь Академии Российской” (САР) (СПб., 1809 г.):

– слово *двойник* зафиксировано;

– выделено одно значение – “нити или пряжа, вдвое ссученная”;

– интересующее нас значение (“полностью похожий на другого, о человеке”) не отмечено.

“Словарь церковно-славянского и русского языка” (СЦСРЯ) (СПб., 1847 г.):

– слово *двойник* зафиксировано;

– дается шесть значений, в том числе – “человек, представляющийся в одно время в двух лицах”.

“Толковый словарь живого великорусского языка” В.И. Даля (СПб.; М., 1880 г., сокращенно – Даль):

– слово *двойник* зафиксировано;

– отмечено значение “человек, являющийся в двух лицах, вдвойне, в двух местах разом, п р и з р а к о м”.

“Полный филологический словарь русского языка” А.И. Орлова (М., 1885 г.):

– слово *двойник* зафиксировано;

– выделено три значения, в том числе – “человек, совершенно схожий с другим”.

“Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук” / Под ред. Я.К. Грота (СПб., 1895 г.):

- слово *двойник* зафиксировано;
- наличествует 14 значений, в том числе выделено значение “человек, являющийся в двух лицах, вдвойне, в двух местах разом, или являющийся кому-либо собственным его образ (...); также: до того похожий на другого, что трудно их различить”.

Толковые словари XX в.

“Толковый словарь русского языка” / Под ред. Д.Н. Ушакова (ТСУ) (М., 1935 г.):

- слово *двойник* зафиксировано;
- выделено одно значение – “человек, имеющий полное сходство с другим (и о мужчине и о женщине)”.

“Словарь русского языка”. В 4 т. (МАС) (М., 1981 г.):

- слово *двойник* зафиксировано;
- имеется три значения, в том числе – “человек, имеющий полное сходство с другим человеком или очень похожий на другого внешне или внутренне”.

“Малый толковый словарь” В.В. Лопатина, Л.Е. Лопатиной (МТС) (М., 1990 г.):

- слово *двойник* зафиксировано;
- отмечено только одно значение: “человек или предмет, имеющий полное сходство с другим”.

“Толковый словарь русского языка” С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (СОШ) (М., 1992 г.):

- слово *двойник* зафиксировано;
- выделено два значения, в том числе – “человек, имеющий полное сходство с другим”.

“Словарь современного русского литературного языка”. В 20 т. (БАС) (М., 1993 г.):

- слово *двойник* зафиксировано;
- имеется четыре значения, среди которых – “человек, имеющий полное сходство с другим”.

Исторические толковые словари XX в.

“Словарь древнерусского языка XI–XIV вв.” (СДР) (Т. III. М., 1990 г.):

- слово *двойник* не зафиксировано.

“Словарь русского языка XI–XVII вв.” (СРЯ XI–XVII вв.) (Вып. 4. М., 1977):

- слово *двойник* зафиксировано;
- выделено четыре значения, в том числе отмечено значение “тот, кто имеет полное сходство с кем-л. и используется как подставное ли-

цо” (К этому значению в словаре есть текстовая иллюстрация: “Изъ иныхъ многихъ городовъ присылали двои никовъ и воровские письма <...>” Д. патр. Никона, 1676 г.).

“Словарь русского языка XVIII века” (СРЯ XVIII в.) (Вып 6, Л., 1991):

- слово *двойник* зафиксировано;
- представлено четыре значения;
- интересующее нас значение (“полностью похожий на другого, о человеке”) не отмечено.

Итак,

Слово *двойник* в качестве отдельной лексической единицы:

- не зафиксировано в русском языке XI–XIV вв. (см. СДР);
- имеет письменные фиксации с XVII в. (см. СРЯ XI–XVII вв., где все текстовые иллюстрации ко всем четырем значениям датированы в интервале 1650–1696 гг.);

– с точки современной “исторической лексикографии” уже с XVII–XVIII вв. является многозначным словом (см. СРЯ XI–XVII вв., СРЯ XVIII в.);

в качестве единицы лексикографического описания слово *двойник*:

- впервые зафиксировано (как однозначное!) в конце XVIII – начале XIX вв. (см. САР);
- как многозначное слово описывается начиная с 1847 г. (см. СЦСРЯ, Даль, Орлов и др.).

Значение “человек, представляющийся в одно время в двух лицах” у слова *двойник* отмечается в словарях начиная с 1847 г. (см. СЦСРЯ).

В словарях XIX в. у слова *двойник* насчитывается от 3 до 14 значений. При этом преобладающими являются обозначения неодушевленных предметов, когда нужно указать на двойное сложение, двойной вес, двойную длину и т.д., если речь идет, к примеру, о нитках, гирях, дровах и под. (Ср., например, в САР единственное значение слова *двойник* – “Нитки или пряжа, вдвое ссученная”; или же у Даля при слове *двойник* есть указание на “дрова двойной длины... двойной кристалл”). Это же соотношение верно и для русских диалектов: по данным “Словаря русских народных говоров”, из 20 зафиксированных значений слова *двойник* 19 служат для обозначения именно неодушевленных предметов и лишь одно – для обозначения человека (“один из близнецов”).

В практике современной лексикографии у слова *двойник* выделяется от 1 до 4 значений, и первым из них во всех словарях – “человек, имеющий полное сходство с другим” (см. ТСУ, МАС, БАС, СОШ, МТС). Также во всех словарях (кроме ТСУ) отражено так или иначе и “предметное” значение этого слова.

Но возникает вопрос: вполне ли удовлетворительны имеющиеся словарные толкования слова *двойник* для его понимания в произведениях Достоевского и – шире – в текстах художественной литературы?

Слово *двойник* у Ф.М. Достоевского

Обратимся к бытованию слова *двойник* в языке Достоевского по текстам 30-томного академического Полного собрания сочинений писателя (Л., 1972–1990). Для того чтобы сформулировать значения, в которых оно используется Достоевским, мы проанализировали все употребления этого слова в художественной прозе, в публицистике и письмах (за исключением других редакций и вариантов).

Совокупная частота слова *двойник* во всех текстах Достоевского составляет 41 употребление. Среди них 21 приходится на номинативные значения и 20 – на использование этого слова в качестве имени собственного (идеонима “Двойник”). При этом слово *двойник* в номинативных значениях встречается у Достоевского только в художественной прозе; в публицистике и эпистолярном наследии оно употреблено только в качестве идеонима (название повести “Двойник”); слово *двойник* в лексиконе Достоевского является низкочастотным и не-сквозным (то есть в большей части его произведений оно не встречается).

Таким образом, нам предстоит проанализировать 20 употреблений (всего!) слова *двойник* из художественной прозы, чтобы установить, в каком значении использовал это слово Достоевский.

А вот и сами контексты.

Из повести “Двойник”:

“Господин Голядкин совершенно узнал своего ночного приятеля. Ночной приятель его был не кто иной, как он сам, – сам господин Голядкин, другой господин Голядкин, но совершенно такой же, как и он сам, – одним словом, что называется, *двойник* его во всех отношениях...” (ПСС. Т. 1. С. 143);

“Тут Крестьян Иванович с одной стороны, а с другой – Андрей Филиппович взяли под руки господина Голядкина и стали сажать в карету; *двойник* же, по подленькому обыкновению своему, подсаживал сзади” (ПСС. Т. 1. С. 229).

Из романа “Подросток” (приводятся контексты для 8 из имеющихся 17 употреблений):

[Версилов:] “Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь (...). Право, мысленно раздваиваюсь и ужасно этого боюсь. Точно подле вас стоит ваш *двойник*; вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, и иногда превеселую вещь, и вдруг вы замечаете, что это вы сами хотите сделать эту веселую вещь, и бог знает зачем, то есть как-то нехотя хотите, сопротивляясь из всех сил хотите” (ПСС. Т. 13. С. 408);

[А. Долгорукий:] «Впрочем, настоящего сумасшествия я не допускаю вовсе, тем более что он [Версилов] и теперь вовсе не сумасшедший. Но “*двойника*” допускаю несомненно. Что такое, собственно, *двойник*? *Двойник*, по крайней мере, по одной медицинской книге од-

ного эксперта, которую я потом нарочно прочел, **двойник** – это есть не что иное, как первая ступень некоторого серьезного уже расстройства души, которое может повести к довольно худому концу. Да и сам Версиков в сцене у мамы разъяснил нам это тогдашнее “раздвоение” его чувств и воли с страшною искренностью. Но опять-таки повторю: та сцена у мамы, тот расколотый образ хоть бесспорно произошли под влиянием настоящего **двойника**, но мне всегда с тех пор мерещилось, что отчасти тут и некоторая злорадная аллегория, некоторая как бы ненависть к ожиданиям этих женщин, некоторая злоба к их правам и к их суду, и вот он, пополам с **двойником**, и разбил этот образ! “Так, дескать, расколются и ваши ожидания!” Одним словом, если и был **двойник**, то была и просто блажь... Но все это – только моя догадка; решить же наверно – трудно» (ПСС. Т. 13. С. 446).

Из рассказа “Сон смешного человека”:

“И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидел вдруг наше солнце! Я знал, что это не могло быть наше солнце, породившее нашу землю, и что мы от нашего солнца на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то, всем существом моим, что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторение его и **двойник** его” (ПСС. Т. 25. С. 111).

В результате анализа этих контекстов для слова **двойник** были сформулированы два значения: “1. Кто-л. в о о б р а ж а е м ы й, имеющий полное внешнее сходство с кем-л. другим; психический болезненный образ, порожденный отстранением человека от самого себя. 2. Что-л., имеющее сходство с чем-л. другим”. Подавляющее число употреблений (19 раз) приходится на первое значение; второе значение в художественной прозе представлено одним контекстом из рассказа “Сон смешного человека”. Если сравнить формулировку первого значения, выведенную из контекстов Достоевского, с приведенными выше толкованиями из разных словарей, то видно, что ни одно из них, за исключением словаря под редакцией Грота (к которому мы еще вернемся), не исчерпывает значения слова **двойник** у Достоевского.

В этой связи отметим еще одно соображение: для слова **двойник** в лексиконе Достоевского актуализированным является такой компонент значения, как “воображаемое” или “психическое”.

Прокомментируем некоторые из наших наблюдений. Несомненно, заслуживает внимания факт, что, имея низкую частоту и будучи несквозным, слово **двойник** ассоциативно прочно связано с творчеством Достоевского, то есть для его творчества в целом оно является именно с к в о з н ы м. Впрочем, по-видимому, точнее здесь говорить не о слове, а о семантическом к о н ц е п т е **д в о й н и к а** (безусловно, высокочастотном и сквозном для мировидения Достоевского), и эта разность потенциалов плана выражения и плана содержания и создает эффект эстетического напряжения, характерный для его творческой ма-

неры. И чтобы это пояснить, обратимся еще раз к распределению слова *двойник* в его художественных текстах.

В одноименной повести (или “поэме”) слово *двойник* встречается дважды и оба раза для обозначения второго господина Голядкина: первый раз в начале и второй раз в конце повествования, тем самым его “закольцовывая”. При этом на протяжении текста повести второй господин Голядкин именуется очень разнообразно, чаще всего как *Голядкин-младший*, а также *Голядкин второй*, *пришелец*, *гость*, *близнец*, *тезка*, *однофамилец*, *неприятель* и *смертельный враг*, *ложный друг* и др. И эти имена как будто дают основание поверить в реально существующего, физического двойника с полным внешним сходством. Но есть контексты, где Голядкин второй называется *иллюзией* или же *ужасом*, *стыдом*, *кошмаром*, и они раскрывают уже другую сторону значения слова, а именно, указывают на двойничество как явление психологического (или даже психопатического) свойства, когда имеется в виду образ, порожденный отстранением человека от самого себя:

«Тот, кто сидел теперь напротив господина Голядкина, был – у ж а с господина Голядкина, был – с т ы д господина Голядкина, был – вчерашний к о ш м а р господина Голядкина, одним словом, был сам господин Голядкин, – не тот господин Голядкин, который сидел теперь на стуле с разинутым ртом и с застывшим пером в руке; не тот, который служил в качестве помощника своего столоначальника; не тот, который любит ступешаться и зарыться в толпе; не тот, наконец, чья походка ясно выговаривает: “Не троньте меня, и я вас трогать не буду”, или: “Не троньте меня, ведь я вас не затрогиваю”, нет, это был другой господин Голядкин, совершенно другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого, – такого же роста, такого же склада, так же одетый, с такой же лысиной, – одним словом, ничего, решительно ничего не было забыто для совершенного сходства, так что если б взять да поставить их рядом, то никто, решительно никто не взял бы на себя определить, который именно настоящий Голядкин, а который поддельный, кто старенький и кто новенький, кто оригинал и кто копия» (ПСС. Т. 1. С. 146–147);

“Надеясь, впрочем, что предмет его страха просто иллюзия!... Рядом с ним семенил утренний знакомец его, улыбался, заглядывал ему в лицо и, казалось, ждал случая начать разговор” (ПСС. Т. 1. С. 152).

В романе “Подросток” распределение слова *двойник* в тексте иное: все употребления (17 раз) сконцентрированы в финале романа – в сцене, когда Версиков разбивает образ (икону), и в эпилоге, где Аркадий Долгорукий анализирует этот его поступок (только в одном абзаце оно употреблено семь раз – ПСС. Т. 13. С. 446). Кроме того, в “Подростке”, по сравнению с повестью о господине Голядкине, двойник – это явле-

ние исключительно психологической природы человека, это плод болезненного воображения, состояние расщепленного сознания, признак неустойчивой психики. И такой двойник, будучи феноменом психологическим, имеет важную особенность, которая и выявлена Достоевским: в поступках он как раз не похож на субъекта, скорее, он его противоположность. Это касается и двойника господина Голядкина, и в какой-то степени Версилова.

Если же посмотреть на распределение слова *двойник* не в составе отдельного произведения, а на протяжении всех периодов творчества Достоевского, то следует отметить, что оно имеет место в начале и конце творчества (“Двойник” – 1846 г. – второе произведение, “Подросток” – 1875 г. – предпоследний роман), и эти “хронологические” полюса появления слова также создают своего рода эстетическое напряжение. А что же между этими точками? А между ними как раз сквозная тема (не слово, а тема!) двойничества, так прочно связанная с представлением о Достоевском, те образы художественных двойников героев, которые многократно описаны в литературе о нем, например, пары: Раскольников – Свидригайлов, Ставрогин – Верховенский, Иван Карамазов – Смердяков.

Слово *двойник* в русской литературе

Вот какой диалог зафиксирован в русской литературе XIX в.: “Но позвольте спросить, как мне называть вас? Вы сами знаете, что без имени знакомство не знакомство (...) – Я уже говорил вам, что особенного имени у меня нет. Существа моего рода едва ли имеют даже название на русском языке, и потому я действительно затрудняюсь отвечать на вопрос ваш. В Германии, где подобные явления чаще случаются, нашу братию называют *Doppelgänger*. Можно бы было, конечно, это слово принять в наш язык, и оно не менее других было бы кстати; но так как у нас иностранных слов, говорят, уже слишком много, то я осмелюсь предложить называть меня *Двойником*. Что вы на это скажете, почтенный друг мой? – Согласен, господин *Двойник*! для меня все равно; впредь, если позволите, иначе вас называть не буду” (А. Погорельский. “Двойник, или Мои вечера в Малороссии”).

Повесть Антония Погорельского была опубликована в 1828 году. Далее, с аналогичным названием, в 1837 году появляется рассказ Е. Гребёнки “Двойник”, затем повесть В.И. Даля «Савелий Граб, или “Двойник”» (1842). (В данном исследовании учитывались только прозаические произведения. Слово *двойник* в поэзии должно быть предметом отдельного рассмотрения.)

Напомним, что слово *двойник* читателями Погорельского воспринято было как новообразование. Собственно, об этом пишет и сам автор

повести, вложивший в уста персонажа своего рода историко-лингвистическую справку. Заметим при этом, что автор придает слову *двойник* статус имени собственного (в повести оно имеет написание с прописной буквы). Однако у Погорельского – это скорее прием сюжетного построения, персонифицированный авторский голос. *Двойник* – это “добрый приятель”, способный разделить с автором длинные вечера и ставший для него приятным собеседником, в нем нет и намека на психологическую природу этого явления. В других произведениях, появившихся вслед за повестью Погорельского, *двойник* тоже прием, а в повести В.И. Даля у этого слова и вовсе нет никакого “ирреального” значения, так как оно обозначает реального, физического *двойника*.

Таким образом, можно сказать, что А. Погорельский ввел в литературный обиход слово *двойник* (и за ним другие авторы), Достоевский же развил значение и “привил” его русскому литературному языку. И на это есть прямое указание в словаре под редакцией Я.К. Грота. Воспроизведем теперь полностью (восстановив преднамеренную купюру, сделанную выше) интересующее нас толкование для первого значения: “Человек, являющийся в двух лицах, вдвойне, в двух местах разом, или являющийся кому-либо собственный его образ, **как в повести *Двойник Достоевского*** (выделено нами. – М.К.) {...}”, то есть в “Словаре русского языка, составленном Вторым отделением Императорской Академии наук” (1985 г.), явным образом определена роль Достоевского для истории русского литературного языка в связи со словом *двойник*.

Как известно, Ф.М. Достоевский гордился тем, что ввел в литературный язык новое слово *стушеваться*, которое он употребил первый раз, между прочим, именно в повести “*Двойник, приключения господина Голядкина*”:

«В литературе нашей есть одно слово: “*стушеваться*”, всеми употребляемое, хоть и не вчера родившееся, но и довольно недавнее, не более трех десятков лет существующее; при Пушкине оно совсем не было известно и не употреблялось никем. {...} во всей России есть один только человек, который знает точное происхождение этого слова, время его изобретения и появления в литературе. Этот человек – я, потому что ввел и употребил это слово в литературе в первый раз – я. Появилось это слово в печати, в первый раз, 1-го января 1846 года, в “Отечественных записках”, в повести моей “*Двойник, приключения господина Голядкина*»» (ПСС. Т. 26. С. 65).

Однако есть не меньше оснований поставить Достоевскому в заслугу еще один факт обогащения русского языка, отмеченный нами в той же повести о господине Голядкине, а именно употребление слова *двойник* в особом значении, которое можно расценить как семантический неологизм Достоевского, так как именно его произведения сыграли

особую роль в освоении (и усвоении) этого слова русским литературным языком.

Дадим также краткую справку о бытовании слова *двойник* в текстах художественной литературы XIX–XX вв.

Нами были просмотрены наиболее известные произведения литературы XIX в. и имеющиеся словари языка писателей с тем, чтобы установить наличие/отсутствие в них данного слова. Оказалось, что слово *двойник* отсутствует в языке Пушкина (см. “Словарь языка Пушкина”), Лермонтова (см. “Лермонтовскую энциклопедию”), Гоголя (“Мертвые души”, “Петербургские повести” и др.); в текстах романов Толстого (“Война и мир”, “Анна Каренина”), Гончарова (“Обломов”), Тургенева (“Рудин”, “Дворянское гнездо”, “Отцы и дети”, “Дым” и др.), то есть это слово для русской литературы XIX в., по-видимому, в целом можно охарактеризовать как низкочастотное. Обнаружили мы это слово в романе “Обрыв” у Гончарова (Райский хотел бы быть двойником Веры).

В литературе XX в. оно употребляется чаще, но эта возросшая частота обусловлена, скорее всего, развитием литературы фантастического и детективного жанров. Однако в этих жанрах слово *двойник* употребляется преимущественно в значении физического реального двойника, как, например, оно использовано в повести А.Н. Толстого “Гиперболоид инженера Гарина”.

Наиболее же интересные примеры использования слова *двойник* в значении, привнесенном в литературу Достоевским, удалось найти в произведениях Набокова (“Защита Лужина”, “Пнин”).



Перечитывая “Войну и мир” Льва Толстого

Об ассоциативных связях в тексте романа

Н.С. АВИЛОВА,

доктор филологических наук

Народность, крестьянская сущность графа Льва Николаевича Толстого всем известна. Недаром Ленин, на дух не принимавший дворян-аристократов, сказал о Льве Толстом, что “до этого графа не было в литературе настоящего мужика”. И.А. Бунин считал, что “хороший колоритный язык народа средней полосы России только у Глеба Успенского и Толстого” (Московская Весть. 1911. № 3. 12 сент.).

Эта народная мужицкая сущность Льва Толстого ярко выступает в его произведениях, в частности, в романе “Война и мир” при описании самых разных слоев общества. В текстах произведений Толстого находим такие ассоциативные связи, специфические именно для него, которые говорят о его погруженности в народную психологию, в народную стихию. Большею частью это выражается в сравнениях, иногда с очень широким контекстом, которые проникнуты народным духом, народной психологией. Характерный пример из романа “Война и мир”: “Разбросанные в разных комнатах гости, как встряхнутая рожь на лопате, столпились в одну кучу и остановились в большой гостиной у дверей залы” (Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 14 т. М., 1951. Т.V. С. 19; далее – том, часть, глава).

Очень важно иметь в виду, что это не осознанное погружение в “народный дух”, а именно сущность самого Толстого, черта его миропонимания и души. Кроме приема сравнения, народность Толстого выражается многими другими способами. Но в данной статье мы концентрируем внимание читателя именно на сравнениях, на тех ассоциативных связях в этих сравнениях, которые ярко выражают народность Толстого. Контекст этих сравнений может быть более или менее широким.

Армия выстроена на смотру двух государей: русского и австрийского. «Послышался один голос: “Смирно!” Потом, как петухи на заре, повторились голоса в разных концах. И все затихло» (т. I, ч. 3, VIII).

К Болконским приезжает князь Куракин с сыном, чтобы посвататься к княжне Марье. “Маленькая княжна, как старая полковая лошадь, услыжав звук трубы, (...) готовилась к привычному галопу кокетства” (т. I, ч. 3, IV).

Флигель-адъютант императора Александра I Балашов встречается с Мюратом. Мюрат, “как разъевшийся, но не зажиревший конь, почуяв себя в упряжке, заиграл в оглоблях, (...) и скакал, сам не зная куда и зачем, по дорогам Польши” (т. III, ч. 1, IV).

Война. Начинается обстрел Смоленска. Устами человека из народа Толстой описывает падение бомбы: “То-то сила! (...) И крышу и потолок так в щепки и разбило (...) Как свинья и землю-то взрыло” (т. III, ч. 2, IV).

Армия отступает, покидая Смоленск. На стоянке солдаты купаются в пруду: “Все это голое, белое человеческое мясо с хохотом и гиком барахталось в этой грязной луже, как караси, набитые в лейку” (т. III, ч. 2, V). “Лейка” – здесь черпак.

Князь Андрей заезжает в покинутое его семьей родовое имение Лысье горы: “На выставке, все также безучастно, как муха на лице дорожного мертвеца, сидел старик и стучал по колодке лаптя” (т. III, ч. 2, V). “Выставка” – здесь место, куда выставляют растения из оранжерей.

Умирает старый князь Болконский, крестьяне приходят к ним проститься. “Как лошади шарахаются, толпятся и фыркают над мертвой лошадей, так в гостиной вокруг гроба толпился народ” (т. III, ч. 2, VIII).

Описывается бунт мужиков в Богучарове: “Алпатыч указал на двух мужиков, которые сзади так и носились около него, как слепни около лошади” (т. III, ч. 2, XIII).

Происходит Бородинское сражение. Пьер на кургане Раевского: “Солдаты неодобрительно покачивали головами, глядя на Пьера (...) Понемногу чувство недоброежелательного недоумения к нему стало переходить в ласковое и шутливое участие, подобно тому, которое солдаты имеют к своим животным: собакам, петухам, козлам и вообще животным, живущим при воинских командах” (т. III, ч. 2, XXXI); “Французское нашествие, как разъяренный зверь, получивший в своем разбе-

ге смертельную рану, чувствовало свою гибель” (т. III, ч. 2, XXXIX). Наполеон “опять перенёсся в свой прежний искусственный мир призраков какого-то величия, и опять (как та лошадь, ходящая на покатоном колесе привода, воображает себе, что она что-то делает для себя), он покорно стал исполнять ту (...) роль, которая ему была предназначена” (т. III, ч. 2, XXXVIII). Полк устраивается на ночлег: “Как огромное многочленное животное, полк принялся за работу устройства своего логовища и пищи” (т. IV, ч. 4, VII).

Особо хочется сказать о том, как Толстой описывает Москву во время занятия ее французами: “Москва с Поклонной горы расстилалась просторно со своей рекой, своими садами и церквями и, казалось, жила своей жизнью, трепеща, как звездами, своими куполами в лучах солнца” (т. III, ч. 3, XIX).

Жители покидают Москву: “Москва между тем была пуста. (...) Она была пуста, как пуст бывает домирающий, обезматочивший улей. (...) Пчеловод закрывает колодезную, отмечает мелом колодку и, выбрав время, выламывает и выжигает ее. (...) В разных углах Москвы только бессмысленно еще шевелились люди, соблюдая старые привычки и не понимая того, что они делали” (т. III, ч. 3, XX); или: “как преступник, которого ведут на казнь, знает, что вот-вот он должен погибнуть, но все еще приглядывается вокруг себя и поправляет дурно надетую шапку, так и Москва невольно продолжала свою обычную жизнь” (т. III, ч. 3, XII).

Французы разбредаются по Москве: “Как голодное стадо идет кучей по голому полю, но тотчас же неудержимо разбредается, как только нападает на богатые пастбища, так же неудержимо разбредалось и [французское] войско по богатому городу” (т. III, ч. 3, XXVI); “Москва должна была сгореть (...) так же неизбежно, как должна загореться куча стружек, на которую в продолжении нескольких дней будут сыпать искры огня” (т. III, ч. 3, XXVI).

Французы уходят из Москвы, и в ней начинается жизнь. Сначала приезжают окрестные мужики грабить, но “кроме грабителей, народ самый разнообразный (...) домовладельцы, духовенство, высшие и низшие чиновники, торговцы, ремесленники, мужики – с разных сторон, как кровь к сердцу, – приливали к Москве” (т. IV, ч. 4, XIV).

В партизанском отряде Денисова: “Оружие его [Тихона Щербатова] составляли мушкетон, (...) пика и топор, которым он владел, как волк владеет зубами, одинаково легко выбирая ими блох из шерсти и перекусывая толстые кости” (т. IV, ч. 3, V).

Следующий текст, хотя и не содержит сравнений, ярко выражает те же специфические ассоциативные связи, обнаруживая народную сущность автора. Петя Ростов в партизанском отряде на рассвете: “Светает, право светает! – вскрикнул он. Невидные прежде лошади стали видны до хвостов, и сквозь оголенные ветки виднелся водянистый свет”

(т. IV, ч. 3, X); или: Долохов перед дуэлью с Пьером объясняет Николаю Ростову тайну дуэли: “Ты иди с твердым намерением его убить. (...) Как мне говаривал наш костромской медвежатник: – Медведя-то, говорит, как не бояться? Да как увидишь его, и страх прошел, как бы только не ушел!” (т. II, ч. 1, IV).

Особо следует остановиться на образе солдата, встреченного Пьером в плену, – Платона Каратаева. Если говорить о средствах его характеристики, то типичный для Толстого прием сравнения применен только раз: “Наше счастье (...) как вода в бредне: тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нету” (т. IV, ч. 1, XII). Но для характеристики Каратаева Толстой применяет целую россыпь употребляемых этим героем пословиц, взятых прямо из глубины народной психологии: “Час терпеть, а век жить”; “Где суд – там и неправда”; “Червь капусту гложет, а сам прежде того пропадает”; “Не нашим умом, а Божьим судом”; “Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матушки”; “От сумы да от тюрьмы никогда не отказывайся”; “Рок головы ищет”; “Все детки равны: какой палец ни укуси, все больно”; “Положи, Боже, камушком, подними калачиком” (Там же); “Солдат в отпуску – рубаха из порток” (т. IV, ч. 1, XIII).

Толстой подчеркивает, что Каратаев для Пьера остался “олицетворением духа простоты и правды”, “олицетворением всего русского, доброго и круглого” (Там же).

Вообще же пословицы и поговорки не типичны для “Войны и мира”. Кроме приведенных можно отметить только два ярких примера их употребления: русские солдаты рассуждают о французах во время их отступления: “Тоже люди, – сказал один из [солдат], уворачиваясь в шинель. И полынь на своем кореню растет” (т. IV, ч. 4, IX). Или вспомним: Наташа возмущена поведением родителей во время отъезда из Москвы. Пристыженный граф восклицает: “– Яйца (...) яйца курицу учат!” (т. III, ч. 3, XVI).

Французы уходят из Москвы: “Положение всего войска [французов] было подобно положению раненого животного, чувствующего свою гибель и не знающего, что оно делает. (...) Очень часто раненое животное, заслышав шорох, бросается на выстрел охотника, бежит вперед, назад и само ускоряет свой конец. (...) Шорох Тарутинского сражения спугнул зверя, и он бросился вперед на выстрел, добежал до охотника, вернулся опять назад и, наконец, как всякий зверь, побежал назад, по самому невыгодному, опасному пути, но по знакомому старому следу” (т. IV, ч. 2, X).

Русские генералы требуют сражения и пленения французов: “Весь глубокомысленный план о том, чтоб отрезать и поймать Наполеона с армией был подобен тому плану огородника, который, выгоняя из огорода потоптавшую его гряды скотину, забежал бы к воротам и стал бы по голове бить эту скотину” (т. IV, ч. 3, XIX); “Взять же в плен никак

нельзя без того, чтобы тот, кого берут в плен, на это не согласился, как нельзя поймать ласточку, хотя и можно взять ее, когда она сядет на руку” (т. IV, ч. 3, XIX); “русская армия должна была действовать, как кнут на бегущее животное. И опытный погонщик знал, что самое выгодное держать кнут поднятым, угрожая им, а не по голове стегать бегущее животное” (т. IV, ч. 3, XIX).

По отношению к своей любимой героине Наташе Ростовой Толстой только трижды применяет свой излюбленный прием сравнения. В этих случаях не находим ярких ассоциаций с народной психологией, но все три сравнения чрезвычайно выразительны.

Наташа потрясена поведением Анатоля Курагина: “Наташа, как подстреленный, загнанный зверь смотрит на приближающихся собак и охотников, смотрела то на ту, то на другого” (т. II, ч. 5, XIX).

Пьер неожиданно для себя встречает у княжны Марьи Наташу и не узнает ее: “и лицо, с внимательными глазами с трудом, с усилием, как отворяется заржавевшая дверь, – улыбнулось, и из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым счастьем, о котором, в особенности теперь, он не думал” (т. IV, ч. 4, XV).

Состояние Наташи по прошествии времени после смерти князя Андрея: “под казавшимся ей непроницаемым слоем ила, заставшим ее душу, уже пробивались тонкие нежные молодые иглы травы, которые должны были укорениться и так застлать своими жизненными побегами задавившее ее горе, что его скоро будет не видно и не заметно. Рана заживала изнутри” (т. IV, ч. 4, III).

Яркость и выразительность сравнений в романе Льва Толстого “Война и мир” целиком основаны на яркости и выразительности ассоциативного мышления Льва Толстого, глубоко уходящего корнями в психологию русского народа.

РАЗВЕНЧАННЫЙ ТУЛОН

Об одной особенности стиля Л.Н. Толстого

А.Т. ГУЛАК,

доктор филологических наук

В романе “Война и мир” Толстой последовательно и остро развенчивает закрепленные сословной традицией, односторонние, романтически-искаженные представления главных героев “о доблестях, о подвигах, о славе”. Вот как это осуществляется.

В главе XII второй части I тома впервые открыто выражены честолюбивые мечты Андрея Болконского о славе, о своем “Тулоне”: “Известие это было горестно и вместе с тем приятно князю Андрею. Как только он узнал, что русская армия находится в таком безнадежном положении, ему пришло в голову, что ему-то именно предназначено вывести русскую армию из этого положения, что вот он, тот Тулон, который выведет его из рядов неизвестных офицеров и откроет ему первый путь к славе! Слушая Билибина, он соображал уже, как, приехав к армии, он на военном совете подаст мнение, которое одно спасет армию, и как ему одному будет поручено исполнение этого плана” (Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1960–1965. Т. IV. С. 219–220; далее – только том и стр.).

Внутренняя речь князя Андрея, окрашенная экспрессией, приближает этого персонажа к читателю, помогая лучше понять своеобразие его духовного облика.

Данная черта характера Андрея Болконского (“честолюбивая устремленность”) находит свое подтверждение (и укрупнение) и в дальнейшем. См. в той же XII главе комментарий всеведущего повествователя, содержащий точку зрения героя: “...сказал князь Андрей, живо воображая себе серые шинели, раны, пороховой дым, звуки пальбы и славу, которая ожидает его” (IV, 221; курсив здесь и далее наш. – А.Г.). Чуть дальше мы наблюдаем внешнюю и внутреннюю реакцию князя Андрея на уговоры Билибина не ехать пока в действующую русскую армию, находящуюся в опасности: «– Этого я не могу рассудить, – холодно сказал князь Андрей, а подумал: “Еду для того, чтобы спасти ар-

мию» (IV, 222). Ср. в XIII главе: "...вспоминал он (князь Андрей. – А.Г.) слова приказа Бонапарта своей армии перед началом кампании, и слова эти одинаково возбуждали в нем удивление к гениальному герою, чувство оскорбленной гордости и надежду славы" (IV, 223).

В этой связи получают психологическую мотивировку эпитеты *волнующее, радостное* ("он испытал *волнующее, радостное* чувство") в описании смятенного состояния князя Андрея при известии о поражении австрийской армии. В результате такой же обратной соотносительности приобретают повышенную психологическую выразительность и эпитеты *бледное, блестящее* в повествовательном отрывке, организованном точкой зрения Несвицкого: "...спросил Несвицкий, заметив *бледное, с блестящими глазами* лицо князя Андрея" (IV, 171).

Все дальнейшее движение сюжетной линии, связанной с образом Андрея Болконского, в оставшейся части I тома романа подчинено теме славы, как ее понимает князь Андрей, и постепенному уточнению в его сознании этого отвлеченно иллюзорного понятия – благодаря постоянным столкновениям с реальной, неприкрашенной действительностью.

В очерке С.Г. Бочарова «Роман Л. Толстого "Война и мир"» стремление к славе князя Андрея объясняется его ориентацией на древний героический канон: "Существует древняя героическая традиция, соответствующая добуржуазной эре человеческой истории, и в этой традиции стремление к славе не противоречит общественному служению, наоборот, они совпадают. (...) Князь Андрей в свой первый период ориентируется на этот героический канон, в его мечтах армия попадает в безвыходное положение, и он один спасает ее и выигрывает войну – совсем как в древних эпопеях или римских преданиях" (Бочаров С.Г. Роман Л. Толстого "Война и мир". М., 1978. С. 40–41).

Думается, не все в этом утверждении верно. Образ Андрея Болконского в окончательной редакции романа чрезвычайно сложен, противоречив, дан в развитии. Князь Андрей, человек глубоко и масштабно мыслящий, деятельный, охвачен жадной славы, эгоистическим стремлением добиться "торжества над людьми" – об этом свидетельствуют его внутренние монологи. Ср.: "Смерть, раны, потеря семьи, – ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди – отец, сестра, жена, – самые дорогие мне люди, – но как ни страшно и ни неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать..." (IV, 358).

Толстой решительно развенчивает это романтизированное представление о славе. Возвышенные мечты князя Андрея перемежаются в романе с подчеркнуто приземленными картинами бытовой действительности, "прозы жизни". Так, по пути в штаб Кутузова он встречает беспорядочно бегущее, мародерствующее русское войско. Но Болкон-

ский видит и не видит, он весь погружен в свои идеальные иллюзии. Затем писатель рисует сцену столкновения князя с обозным офицером, оскорблявшим лекарскую жену, и, хотя он вышел из этого столкновения с достоинством, соприкосновение с “изнанкой жизни” мучительно для Андрея Болконского, так как идет вразрез с его героическими планами.

Внутренний монолог князя Андрея накануне Аустерлицкого сражения, отражающий величие честолюбивых устремлений героя, контрастно оттеняется сниженно-бытовым диалогом кучера и повара.

Это постоянное чередование возвышенных мечтаний Андрея Болконского о славе с картинами военно-бытовой “прозы” выступает и как стилистический прием, разрушающий условную, лишнюю реальную опоры семантику слова *слава*, и как способ диалектического изображения приближения князя Андрея к простой жизненной правде (ср. подобный стилистический прием в рассказе “Севастополь в августе 1855 года”, использованный при создании образа Володи Козельцова). Предельно честный перед собой и другими, князь Андрей благодаря присущей ему остроте и аналитической точности восприятия мучительно постигает истинную сущность вещей, и динамика этого постижения во всех подробностях, со всеми колебаниями воспроизводится в тексте романа.

Мечты Андрея Болконского о славе постоянно сопровождаются упоминанием Тулона или Аркольского моста. “Для молодых людей девятнадцатого столетия Тулон стал символом резкого и стремительного поворота судьбы” (Манфред З. Наполеон Бонапарт. М., 1986. С. 75). Тулон сделал Наполеона знаменитым. Аркольский мост, где Бонапарт под пулями в критическую для французов минуту, подхватив знамя, увлек за собой солдат, приумножил его славу. Поэтому “князь Андрей не мог равнодушно смотреть на знамена проходивших батальонов. Глядя на знамя, ему все думалось: может быть, это то самое знамя, с которым мне придется идти впереди войск” (IV, 370).

В романе со всей реалистической достоверностью воспроизводится эффектный бросок Андрея Болконского со знаменем, не изменивший, однако, исхода сражения и не принеший ему долгожданной славы, но приведший в результате к глубокому переосмыслению им жизненных ценностей. Повествователь трижды сосредоточивает внимание на бегущем со знаменем князе Андрее, всякий раз стилистически снижая высокий порыв героя. Ср. сначала: “Вот оно! – думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением слыша свист пуль, очевидно направленных именно против него”.

Затем: “– Ура! – закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжелое знамя, и побежал вперед с несомненной уверенностью, что весь батальон побежит за ним”.

И наконец: “Князь Андрей опять схватил знамя и, волоча его за древко, бежал с батальоном” (IV, 379).

В первом случае изображение выдержано в свойственной князю Андрею романтически-приподнятой форме восприятия. В дальнейшем следует все более адекватная, все более точная и неприглаженная оценка действий героя. Высокое состояние духа, к которому готовил себя князь Андрей, не приходит к нему во время его героического поступка. Напротив, в контраст с его романтическими представлениями о подвиге в его сознание вторгается реальная картина боя с нелепыми, бессмысленными действиями людей: “Он ясно видел уже одну фигуру рыжего артиллериста с сбитым набок кивером, тянущего с одной стороны банник, тогда как французский солдат тянул банник к себе за другую сторону. Князь Андрей видел уже ясно растерянное и вместе с тем озлобленное выражение лиц этих двух людей, видимо, не понимавших того, что они делали” (Там же).

Картина бессмысленной борьбы русского артиллериста и француза за банник еще раз в форме возвратившейся темы отразится в сознании раненого Андрея Болконского, когда он увидит высокое небо – переломный момент в жизни героя, когда резко изменятся его представления о жизненных ценностях. Небо над Аустерлицем, увиденное раненым Андреем Болконским, словно бы открыло ему глаза на происходящее на земле, оттенило суетность, бессмысленность действий и устремлений людей на войне (в том числе и его честолюбивых устремлений).

Так же и романтически-приподнятые мечтания Пьера о том, что именно ему “предназначено положить предел власти зверя” (то есть Наполеона), перемежаются с реалистически точно воспроизведенными, подчеркнута сниженными бытовыми картинами. В то время когда Пьер “с необыкновенной яркостью и грустным наслаждением представлял себе свою погибель и свое геройское поведение” и произносил свой “предсмертный” монолог, в кабинете появился полусумасшедший и пьяный брат И.А. Баздеева Макар Алексеевич. Повествователь детально описывает его внешний вид и его неадекватное обстановке поведение, контрастно оттеняя тем самым (и одновременно снижая) возвышенные представления Пьера о подвиге: “Да, один за всех, я должен совершить или погибнуть! – думал он, – Да, я пойду... и потом вдруг... Пистолетом или кинжалом? – думал Пьер. – Впрочем, все равно. Не я, а рука провидения казнит тебя, скажу я (думал Пьер слова, которые он произнесет, убивая Наполеона). Ну что ж, берите, казните меня”, – говорил дальше сам себе Пьер, с грустным, но твердым выражением на лице, опуская голову.

В то время как Пьер, стоя посередине комнаты, рассуждал с собой таким образом, дверь кабинета открылась, и на пороге показалась совершенно изменившаяся фигура всегда прежде робкого Макара Алексеевича. Халат его был распахнут; лицо было красно и безобразно. Он, очевидно, был пьян. Увидев Пьера, он смутился в первую минуту, но,

заметив смущение и на лице Пьера, тотчас ободрился и шатающимися тонкими ногами вышел на середину комнаты.

– Они оробели, – сказал он хриплым, доверчивым голосом. – Я говорю: не сдамся, я говорю... так ли, господин? – Он задумался и вдруг, увидев пистолет на столе, неожиданно быстро схватил его и выбежал в коридор.

Герасим и дворник, шедшие следом за Макар Алексеичем, остановили его в сенях и стали отнимать пистолет. Пьер, выйдя в коридор, с жалостью и отвращением смотрел на этого полусумасшедшего старика. Макар Алексеич, морщась от усилий, удерживал пистолет и кричал хриплым голосом, видимо себе воображая что-то торжественное.

– К оружию! На бордаж! Врешь, не отнимешь! – кричал он...
– Ты кто? Бонапарт!... – кричал Макар Алексеич” (VI, 405).

Ср. также попытку Макара Алексеевича убить французского капитана Рамбаля, предотвращенную Пьером (VI, 407–408). Эта попытка является своеобразной символической параллелью замыслу Пьера, как бы карикатурным воплощением этого замысла.

По словам А. Прието, “никакой элемент или фрагмент структуры не является чуждым или лишним в ее составе... каждый персонаж произведения имеет определенную функцию и стоит в определенном отношении к другим элементам” (Прието А. Из книги “Морфология романа”. Нарративное произведение // Семиотика. М., 1983, 387).

Служебная, но психологически тонко включенная в структуру произведения роль Макара Алексеевича не только обнажает абсурдность замысла Пьера, но и подспудно переориентирует его намерения.

Всякий раз, когда толстовский герой (будь то князь Андрей, или Пьер, или кто-либо еще) пытается навязать свою волю непреложному, с точки зрения Толстого, ходу событий, в повествование тут же вплетаются иронические нити. Пронизаны иронией все картины, рисующие намерение Пьера убить Наполеона. Так, подчеркнуто детально описывая сборы Пьера к покушению на Наполеона, повествователь как бы вскользь фиксирует внимание читателя на несуразностях, которые неожиданно обнаруживает герой в процессе приготовления к исполнению своего намерения: «Оправив на себе платье, Пьер взял в руки пистолет и собирался уже идти. Но тут ему в первый раз пришла мысль о том, каким образом, не в руке же, по улице нести ему это оружие. Даже и под широким кафтаном трудно было спрятать большой пистолет. Ни за поясом, ни под мышкой нельзя было поместить его незаметным. Кроме того, пистолет был разряжен, а Пьер не успел зарядить его. “Все равно, кинжал”, – сказал себе Пьер, хотя он не раз, обсуживая исполнение своего намерения, решал сам с собою, что главная ошибка студента в 1809 году состояла в том, что он хотел убить Наполеона кинжалом» (VI, 435).

Ирония сквозит и в обобщенно-психологическом сопоставлении,

выступающем в функции стилистического усилителя (так как с его включением резко перемещается центр повествования – из плоскости сознания героя в субъектную сферу автора-повествователя) и недвусмысленно указывающем на несоответствие замысла Пьера его натуре: “Но, как будто главная цель Пьера состояла не в том, чтобы исполнить задуманное дело, а в том, чтобы показать самому себе, что не отрекается от своего намерения и делает все для исполнения его, Пьер поспешно взял купленный им у Сухаревой башни вместе с пистолетом тупой зазубренный кинжал в зеленых ножнах и спрятал его под жилет” (VI, 435).

Реальный, неудержимый ход событий окончательно разрушает намерение Пьера, перечеркивает его искусственные планы и решения, возвращает его к “живой жизни”. Это отражается и на стилистике романа: следует художественно-конкретизированное, развернутое представление действий Пьера по спасению пропавшей девочки, повествование приобретает динамичный, реалистически-дробный, лишенный иронической окраски характер (VI, 438–441).

В эпилоге Пьер – счастливый семьянин, чувствующий “радостное сознание того, что он не дурной человек” (VII, 302). Каратаевское начало органично вошло в него, влилось в его духовный мир, “расширив” и очистив этот мир. А Пьер еще и один из главных основателей оппозиционного правительству общества, что, по его мнению, Каратаев бы не одобрил. Не одобряет этого и автор-повествователь, в комментариях которого вновь появляются иронические оттенки: “Ему [Пьеру] казалось в эту минуту, что он был призван дать новое направление всему русскому обществу и всему миру” (VII, 329).

Толстой-мыслитель в начальных главах эпилога, предшествующих художественному изображению послевоенных судеб героев, утверждает, что жизнь человеческая не может управляться разумом; если допустить это, “то уничтожится возможность жизни” (VII, 267). Толстой-художник в живых, сильных картинах и образах демонстрирует извечное заблуждение человеческого духа – желание изменить, улучшить, опираясь на якобы разумную программу действий, жизнь. Наблюдается следующая закономерность: стремление толстовских героев активно влиять на события, проявить себя неизменно подается в ироническом аспекте; в случаях же, когда герои следуют движению самой жизни, их изображение приобретает экспрессивную глубину и психологическую многогранность.

Таким образом, Толстой постоянно осуждает, развенчивает честолюбивые мысли и порывы своих героев, ставя их в параллель с подчеркнуто сниженной прозаично-будничной действительностью, иронически освещая их, – и это можно квалифицировать как один из ведущих стилистических приемов автора “Войны и мира”.

Мотив одиночества в русской поэзии: от Лермонтова до Маяковского*

Л.Л. БЕЛЬСКАЯ,
доктор филологических наук

2. Серебряный век

Одинокий, к тебе прихожу,
Околдован огнями любви.

А. Блок

Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!

В. Маяковский

Новое звучание приобрела тема одиночества в поэзии Серебряного века. Декаденты и символисты интерпретировали ее в философском и мистическом ключе: “Вся жизнь, весь мир – игра без цели”; “Одиночество – общий удел...” (Ф. Сологуб), “Мы бесконечно одиноки, / Богов покинутых жрецы” (Д. Мережковский), “И в одиночестве зверином / Живет огненные человек” (З. Гиппиус), “Плачет душа одинокая / Там, на другом берегу” (А. Блок), “И прохлада веет в очи / Вечной тайной одиночества” (В. Брюсов), “Я понесу, одна, незримо, / Неутомимо, / Любви таинственный обряд” (А. Герцык).

Поэты передавали свое душевное состояние с помощью иносказаний разных видов: “О, темный ангел одиночества...” (Мережковский), “Я солнечной пустыни не хочу, – В ней рабье одиночество таится” (Гиппиус), “Что в мире оно [сердце. – Л.Б.] одиноко, / Как старая кукла в волнах...” (Инн. Анненский), “Был пуст он [храм. – Л.Б.] и тих, одинокий (...) Он – бедное сердце мое!” (В. Иванов), “Ты – одиноко – в отдаленьи / Сомкнешь последние круги...” (Блок), “И я, как прежде, одинок, / Иду-бреду болотом топким” (А. Белый), “Над могилой одиноко ты, Божий глаз – звезда, блесни” (С. Парнок), “Я ж лелею одиноко /

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 2001. № 4.

Голубую розу – старость” (В. Ходасевич), “И одиночество холодными руками / Меня сожмет в объятиях ледяных” (П. Соловьева). Но для символистской поэтики не менее характерно и прямое выражение мыслей и чувств посредством отвлеченных понятий, вынесенных и в заглавия произведений (к примеру, многочисленные “Одиночества”), субстантивированных прилагательных: “Одинокие послушны, / Не бегут своей судьбы” (Гиппиус); “И одинокое горюет над собой” (Вл. Соловьев), “Одинокому дорог покой...” (Блок); нагнетения одинаковых и однокорневых слов в синонимических и антонимических сочетаниях: “Мы все – одни, всегда – одни: Я жил один, один умру” (Мережковский), “Дни проводила я одна (...) И я была не одинока” (Брюсов), “Не одинок, и одинок” (Белый), “Я навек – один! – я навек – для всех!” (Блок) (См. Кожевникова Н.А. Словоупотребление в русской поэзии начала XX века. М., 1986. С. 8–39).

Мотив одиночества зазвучал одновременно в середине 90-х годов XIX века и в московской, и в петербургской ветвях русского символизма – в поэзии Валерия Брюсова и Зинаиды Гиппиус.

В брюсовских стихах, начиная с раннего “Хорошо одному у окна!” (1895), в чувстве одиночества нет никакого трагизма, наоборот, это благодеяние и блаженство: “Я одиночество, как благо, / Приветствовал в ночной тиши...” (1903), “И я упрямо недолгим счастьем: / Быть без людей, быть одному!” (1907), “Блажен пьянящим одиночеством...” (1918). Одинокое, молчаливое созерцание, томление, раздумье приносят с собой радость творчества (“Чтоб снова испытать раздумий одиноких / И огненность, и лед”), и поэт жаждет испытывать ее вновь и вновь, погружаясь как в собственные воспоминания, так и в “века загадочно былые”. Например, в стихотворении “Одиночество” (1907) он призывает и закликает: “Одиночество, стань, словно месяц, над часом моим!”, и перед ним проносятся видения далекого прошлого – прекрасные девы “То в алмазных венцах, то в венках полевых маргариток, То в одеждах рабынь, то в багряных плащах королев”: “Только с вами я счастлив, и только меж вами я свой!”. А “одинокий путь” у Брюсова не символический, не жизненный, пролегает в природном пространстве, когда во время прогулки “мирно дышит грудь” и “отошла тревога” (“Мерно вьет дорога”, 1899); “созерцанье одинокое” у моря навевает грезы (“Близ моря”, 1911); на лесной полянке “лежишь одинокий и думаешь кротко, что дух – все обрел” (“Лесные тропинки”, 1916). Приобщаясь к миру природы, поэт-символист, как когда-то лермонтовские герои, бежал в леса и поля, хотел бы слиться с ними – “Пойду в поля, пойду в леса / И буду там везде один я, / И будут только небеса / Дружьями счастья и унынья!” (“Мечтание”, 1901). Обратите внимание – не свидетелями, а друзьями! Правда, в дальнейшем придет догадка, что человеку и природе невозможно слиться в единое гармоническое целое, как, например, в стихотворении “В лесу” (1911):

Или я чужой здесь, в этой дикой шири,
Одинок, как эта птица на суку,
Говорящий странник в молчаливом мире,
В даль полей принесший чуждую тоску?

Однако заметьте, это не полное отрицание, а недоумение, сомнение – в вопросительной форме, ибо все-таки “трав серебряная влага была бальзамом для души”. Кстати, городские и экзотические пейзажи у Брюсова лишены такой эмоциональной окраски и выступают в мифологическом обличье как олицетворение демонических, стихийных сил.

По-иному разрабатывается тема одиночества в лирике З. Гиппиус. Если вначале она воспринимала “час одиночества укромный” как время утомления, отдыха и покоя, когда при виде прекрасного неба “плачет от счастья сердце мое одинокое” (1898), и вопрошала: “Ужель ты одиночества не любишь? / Уединение – великий храм” (1900), то вскоре ее отношение к “угрозе одиночества” меняется, нарастает страх перед ним, страшным и неведомым “чудовищем”:

Мое одиночество – бездонное, безгранное;
но такое душное; такое тесное;
приползло ко мне чудовище ласковое, странное,
мне в глаза глядит и что-то думает – неизвестное.

(“Не знаю”, 1901)

Стихотворец (чаще всего она пишет о себе от лица мужчины, в мужском роде) то отказывается от одиночества во имя Творца – “Я чту Высокого, Его завет: Для одинокого – Победы нет” (“Вместе”, 1902), то сознает, что невозможно преодолеть “боль одиночества”: “В горькие дни, в часы бессонные / Боль побеждай, боль одиночества” (“Тебе”, 1913), но предугадывает его вещей, пророческий характер:

В минуты вещей одиночеств
Я проклял берег твой, Нева.
И вот, сбылись моих пророчеств
Неосторожные слова.

(“Петербург“, 1919)

А самое удивительное стихотворение на эту тему Зинаида Гиппиус написала в конце жизни, посвятив его своему секретарю и другу Владимиру Злобину (будущему автору мемуаров о ней “Тяжелая душа”), – “Одиночество с Вами...” (1941–1942). Оно насчитывает 20 строк, построенных на 10-кратном повторении эпитеты “ОДНОМУ”, графически выделенной крупным шрифтом. Это слово относится к внутреннему миру как автора (“лучше и легче быть ОДНОМУ”, “в молчаньи

проще быть ОДНОМУ”, “Только желанье – быть ОДНОМУ”, “А ночью так страшно быть ОДНОМУ”), так и героя-адресата:

Может быть, это для вас и обидно,
Вам ведь привычно быть ОДНОМУ –
И вы не поймете... И разве не видно,
Легче и вам, без меня – ОДНОМУ.

Возможно, неожиданно для себя, тяжело пережив смерть Д. Мережковского, Гиппиус в конкретной жизненной ситуации как бы воплотила, реализовала философский постулат, провозглашенный ее мужем в молодости: “В своей тюрьме – в себе самом, / Ты, бедный человек, / В любви, и в дружбе и во всем / Один, один навек!...” (“Одиночество”, начало 90-х гг.).

Мотив одиночества встречается у всех символистов, но с различной степенью интенсивности, с разной умонастроенностью и трактовками. У Бальмонта свободная, стихийная, переменчивая душа поэта впитывает в себя всякие впечатления, и он сравнивает себя и с “вольным ветром”, и с блуждающей тучей, и с полнозвучным морем, а то вдруг называет себя “угрюмым заложником, тоскующим пленным”. В его поэзии есть и программное заявление: “Я ненавижу человечество, / Я от него бегу спеша. / Мое единое отечество – / Моя пустынная душа”, и призыв: “люби изгнание”, и неоднократные утверждения – “я один”: “На льдине холодной / Плыву я один”, “Я в море – один”, “Солнце удалилось. Я опять один”, “Один я смотрел на звезду”, “Полночь бьет. Один я в целом мире”, “Затомлюсь, что я один”.

В отличие от Бальмонта с его культом то тишины, то безбрежности, то Солнца, то Огня, Ф. Сологуб был сосредоточен на мрачных сторонах жизни, на изолированном, замкнутом, одиноком сознании, и его герой – бесприютный, неприкаянный странник, удел которого ненависть к “очарованиям Земли”, смертельная усталость и стремление к самоубийственному, ведь жизнь – это тюрьма и плен (“Я один в безбрежном мире, / Я обман личин отверг”).

Изн. Анненский выражал тоску одинокого сердца в символических образах умирающих цветов, угрюмой свечи, старой куклы, забитой калитки, “горького дыма облаков”, безнадежного слова “невозможно”. У него можно найти такие противоположные признания: “Я хочу быть один...” и “Была не одинока теперь моя душа...”. Вспоминая своего учителя, Николай Гумилев назовет его “одинокой музой, последней – Царского Села” (“Памяти Анненского”).

Менее свойствен этот мотив лирике Вяч. Иванова, но и его изредка посещает чувство “всемирной осиротелости”, и он ощущает себя скитальцем и отщепенцем, особенно в годы эмиграции. Однако и “в одиночестве, в пустыне” поэта утешает сыновняя привязанность к “матери родимой” – Земле.

Повсюду гость и чужанин,
И с музой века безземелен,
Скворчаниц вольных гражданин,
Беспочвенно я заперделен.

(“Земля”, 1928)

Об эмигрантских “одиноких скитаниях” будет писать и В. Ходасевич, который начинал свой поэтический путь с символистской “одинокой сказки” и в юности чувствовал себя забытым и потерянным, “единым в поле, на непроложенном пути”, печалился, что все одиноки (“Плачу, что люди – одни...”, “и я – один”). А в зрелости свылся с одиночеством и изучал его свойства как бы со стороны (“Пускай минувшего не жаль (...) / И одиночество възграет, / И душу гордость окрылит...”) и видел в зеркале свое незнакомое лицо, лицо “всезнающего, как змея”, старика: “Только есть одиночество – в раме / Говорящего правду стекла”. По мнению А. Жолковского, в знаменитом стихотворении Ходасевича “Перед зеркалом” (1924) выражен как “горький эгоцентризм”, так и его “трагическое преодоление” (Жолковский А. Блуждающие сны. Из истории русского модернизма. М., 1992. С. 23, 313).

Чаще других признавался в своей одинокости Андрей Белый, и его жалобы “я один”, “мы одни” передавали настроения печали и тоски, сопровождалась слезами и сожалениями: “И встает невольно / скучный ряд годин. / Сердцу больно, больно... / Я один” (1900), “Ночь темна. Мы одни” (1901), “Один. / Внимаешь с тоской, / обвеянный жизнью давней...” (1903), “Все отдал; и вот – я один” (1904), “Стою – один” (1916). В уединении человек совершенствует себя, в одиночестве свершает он свой жизненный путь. Но когда мучает совесть и приходят мысли о смерти, вся жизнь припоминается, как бесконечная пустынная дорога: “Я шел один своим путем”, “мою печаль, и пыл, и бред / сложу в пути осиротелом: / и одинокий, робкий след, / прочерченный на снеге белом...” (“Совесть”, 1907); “Грядю, грядю – один. / И круг мой путь, и пуст” (“Смерть”, 1908). Порой поэт воображает себя позабытым, замолчавшим или несостоявшимся пророком, и тогда возникают иронические ноты: “Стоял я дураком (...) / один, один, как столб, / в пустынях удаленных, – / и ждал народных толп / коленапоклоненных...” (“Жертва вечерняя”, 1901).

Только у А. Блока мотив одиночества становится почти столь же постоянным, как у Лермонтова, но, безусловно, с другим содержательным наполнением, с иной эмоциональной окрашенностью. Ранний Блок опьянил себя “одиноким сыном земли” и был готов “одиноко ликовать над бытия ужасной тризной”. Будучи учеником Вл. Соловьева, провозгласившего (по-видимому, “в пику” Лермонтову): “Я одинок был, но не мизантроп” (1898), юноша восклицает: “Пусть одинок, но радостен мой век...”, даже если ему суждено погибнуть (1900). Блоков-

ская влюбленность в Прекрасную Даму – “одинокое поклонение” (“Одинокий, к тебе прихожу, / Околдован огнями любви”), и она тоже одна и одинока: “ты цветешь одиноко”, “одинокую тенью посети на закате меня”. Создается магическое кольцо-заклинание: “Один – я жду, я жду – тебя, тебя – одну” (1903).

В отроческих и юношеских стихах Блока первоначально царил дух одиночества, созвучный Лермонтову: “Одинокое плыла по лазури луна” (1898), “Один – ты осужден страдать, / Тебя осмеивать – другие!” (1899), “И меня оковавшие цепи / На земле одиноко бренчат” (1901). Одинокими предстают дни и огни, могила и тень, мечта и песня, образ и куст, тропа и луна. В лермонтовском ключе написано стихотворение “Одиночество” (1899), герой которого сидел перед камином один, усталый, с потухшим взглядом, забытый миром, но еще живой; “он отгорел и отстрадал”, друзья и враги остались в прошлом. “Куда неслись его мечтанья? Пред чем склонялся бедный ум?” Теперь его сердце не желало больше ничего – “ни потрясений, ни труда, ни лести, ни любви, ни славы, ни просветленья, ни утрат”.

Однако скоро Блок осознает двуликость одиночества, приносящего не только страдания, но и чудесные дары: “Но в одиночестве двуликом Готовит чудные дары” (“Душа молчит”, 1901). И вот, с одной стороны, “Хожу, брожу понурый, / Один в своей норе” (1906) и “Когда один с самим собою / Я проклиная каждый день...” (1908), а с другой, – “Над одиноком веют вёсны / И торжествуют небеса” (1904), “Одинокая участь светла” (1905). К тому же, постепенно приходит понимание своей принадлежности ко “всем”: “Я один, я в толпе, я – как все...” (1903), “Мы забыты, одни на земле” (1913). Расставаясь с мистикой первого тома, поэт погружается в природные, социальные, чувственные стихии и прощается с ощущением личного одиночества (“Нет, не один я был на пире!”, 1909). Хотя и в третьем томе лирический герой подчас выступает “вечным путником”, “странником”, “угрюмым скитальцем”, блоковская “трилогия вочеловечения” – это путь “от личного к общему”, приобщение к миру, в котором вневременное срастается с историческим, а уединенное с общенародным и общечеловеческим (см.: Максимов Д. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1981. С. 142). Вероятно, именно позднего Блока имел в виду современный поэт Игорь Шкляревский, который в своей емкой и лаконичной миниатюре объединил Блока с Пушкиным и противопоставил им Лермонтова.

Земные взоры Пушкина и Блока
устремлены с надеждой в небеса.
А Лермонтова черные глаза
с небес на землю смотрят одиноко.

“Преодолевшие символизм” (В.М. Жирмунский) акмеисты в своих

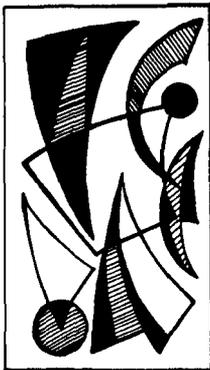
первых опытах то следовали символистским канонам, то отступали от них: “И, точно маятник зловещий, / Звучал мой одинокий шаг” (Н. Гумилев), “Чтобы мне легко, одинокой, / Отойти к последнему сну”... и “Ты первый раз одна с любимым” (А. Ахматова), “В темнице мира я не одинок” и “Я участвую в сумрачной жизни, / Где один к одному одинок” (О. Мандельштам). В дальнейшем тема одиночества в акмеистической поэзии либо трансформируется, либо исчезает. У Гумилева люди и звери, меняясь местами, предстают одинокими – слон, “как я, одинок и велик”, “кот понял, что я одинок, как кит в океане”. В стихотворении “Одиночество” (1909) герой, смытый волной с палубы родного корабля, оказывается на неведомой земле и там вспоминает предсказание оракула о том, что “у заброшенных сюда вечно сердце плачет”, но не страшится этого пророчества.

О. Мандельштам, различая “одинокое множество звезд”, себя не причислял к одиноким душам, а слово “один” употреблял скорее всего для обозначения поэтической избранности или творческого уединения: “И я один на всех путях”, “И твой, бесконечность, учебник, / Читаю один, без людей...”, “Еще не умер ты, еще ты не один”, “В лицо морозу я гляжу один”.

В поздних ахматовских стихах мы находим упоминания об одиноким писателе, простившемся со своим творением (“и автор снова будет бесповоротно одинок”), об “одиночестве вдвоем” (ср. у М. Лохвицкой “вдвоем бывала я одна”), о том, что “через все уж одиночество сквозило”. А в “Посвящении” к “Поэме без героя” неожиданно появляется парадоксальный образ весны-одиночества: “Ты, что люди зовут весною, / Одиночеством я зову”. И о Блоке поэтесса скажет: “Он там один”. Так нелегкая, горестная судьба внесла в ахматовскую поэзию мотив, по существу, отсутствовавший в ее раннем творчестве.

Окончание следует

*Цфат
Израиль*



“Карта будня”

*О.А. ЛЕКМАНОВ,
кандидат филологических наук*

“Многие стихотворения раннего Маяковского отличаются смысловой многоплановостью. Метафорическая система их сложна и в некоторых случаях требует расшифровки”, – указывал знаток и исследователь русского авангарда Николай Иванович Харджиев (см.: Харджиев Н.И., Тренин В.В. Поэтическая культура Маяковского. М., 1970. С. 195). В качестве примера Харджиев далее анализирует “первое декларативное стихотворение Маяковского” 1913 года “А вы могли бы?”:

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

Цель настоящей заметки – выявить одно из существенных значений ключевого слова первой строки стихотворения Маяковского – *карта*

(будня). Это слово осталось без подробного комментария как в статье Харджиева, так и в очень хорошей работе о стихотворении “А вы могли бы?”, написанной В.Н. Топоровым (см.: Топоров В.Н. Флейта водосточных труб и флейта-позвоночник (внутренний и внешний контексты) // Поэзия и живопись. Сб. трудов памяти Н.И. Харджиева. М., 2000).

Впрочем, В.Н. Топоров совершенно справедливо отмечает, что *карта* в стихотворении “А вы могли бы?” предстает “как план, расписание, способ организации-упорядочения” (Там же. С. 386). Вопрос только в том, о какой карте идет речь у Маяковского?

В первую очередь, разумеется, – о географической: пятно выплеснутой краски образует на географической карте новый, неведомый путешественникам и ученым “материк”. Вместе с тем, целый ряд образов стихотворения “А вы могли бы?” (“из стакана” – “на блюде студня” – “На чешуе жестяной рыбы”) актуализирует в сознании читателя то значение существительного *карта*, которое в Словаре В.И. Даля приводится после *карты географической* и перед *картой игральной*: “Список кушаньям, роспись блюдам. Обед на карте” (Даль В.И. Толковый словарь. Л., 1979. Т. II. С. 93).

Напомним, что во многих произведениях раннего Маяковского едящие люди описываются дотошно и с ненавистью. Еда – как “способ организации-упорядочения” изображена, например, в стихотворении поэта “Гимн обеду” (1914):

Если взрежется последняя шея бычья
и знак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

В заключение отметим, что на одном из футуристических вечеров, состоявшихся вскоре после написания Маяковским стихотворения “А вы могли бы?”, содержащуюся в его первой строке ресторанныю метафору весьма своеобразно реализовал Алексей Крученых: «Усевшись на дырявом кресле спиной к публике, он потребовал чаю. Выпил стакан, остаток выплеснул на стену и, заявив: “Так я плюю на низкую чернь!” – удалился» (цит. по комментарию А.Е. Парниса в кн.: Лившиц Б.К. Полутораглазый стрелец. Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 658).



Новое в старом

Белый

А.В. ЗЕЛЕНИН,

кандидат филологических наук

Это прилагательное глубоко укоренено в русском языке и культуре. Помимо своего основного, номинативного, значения цвета, оно уже в древнейших текстах приобрело (в составе калек или на русской языковой почве) переносные (метафорические и символические) смыслы. Поэтому не удивительно, что оно оказывается в центре внимания исследователей древнерусского языка, фольклористов, фразеологов, диалектологов, лексикологов.

На первый взгляд кажется, что в последнее время в прилагательном *белый* не произошло заметных изменений. На фоне больших передвижек в других областях лексики они действительно не очень видны, однако при более пристальном внимании к данному прилагательному высвечиваются интересные процессы, протекающие в смысловой структуре слова. Каковы же семантические механизмы, “управляющие” словом в современном языковом пространстве? Контексты, в которых используется прилагательные *белый*, образуют своеобразные “пучки смыслов”, которые в отраженном свете характеризуют (или – лучше – живописуют) нашу действительность.

В советской публицистике 60–80-х годов (все примеры взяты из “Словаря новых слов русского языка 1950–1980 гг.” – СПб., 1995) прилагательное *белый* (в сочетании с существительными) участвовало в образовании нескольких семантических моделей. Активно использова-

лись публицистические метафоры; *белая зависть*; *белая жатва*, *страда* (о напряженном периоде уборки урожая); *белая нефть* (о газовом конденсате); *Белая Олимпиада*, *спартакиада*; *белая пахота* (о задержании снега на полях); *белая смерть* (1. О наркотиках. 2. О снежной лавине); *белое зерно* (о рисе); *белое безмолвие* (о снежных просторах); *белое золото* (о хлопке); *белый континент* (об Антарктиде); *белый танец*. Появилось несколько терминологических сочетаний: *белая книга* (калька с англ. White Book “правительственный документ (по цвету – белой обложке)”; *белый амур* (рыба семейства карповых); *белые воротнички* (калька с англ. White-collar “конторский работник, служащий”). Устойчивые сочетания группируются вокруг нескольких тем: 1. производственно-технической; 2. сельскохозяйственной; 3. связанной с наркотиками; 4. связанной с экзотической природой, необычными природными условиями; 5. спортивной; 6. иностранными реалиями.

Если в первые десятилетия советской власти основным идеологическим противопоставлением была оппозиция *красный* (советский) – *белый* (контрреволюционный, антисоветский, эмигрантский), то во второй половине XX века *белый* противопоставлялся *черному* в контексте расовой проблемы: «После разделения ЮАР на “белую” и “черную” зоны правители Претории начали широкую кампанию по выселению африканцев с “белых” земель» (Изв. 1973. 15 марта); «...на Калифорнию приходится одна треть всех въезжающих в Соединенные Штаты Америки иммигрантов. Угроза лишиться статуса “большинства” рождает то, что здесь называют “белым нацизмом”, который уже проявляется с особой силой и сродни “белому расизму”, еще не изжитому в Соединенных Штатах» (Неделя. 1986. № 9). Таким образом, в советской публицистике у слов *белый* и *черный* собственно семантическое противопоставление “человек европеоидной расы” – “человек негроидной расы” оказалось оттесненным прагматическим (идеологическим) компонентом в рамках формулы “угнетающий” – “угнетаемый”.

Современные контексты использования прилагательного *белый* можно разделить на несколько тематических зон: техника и компьютеры; политика и социальные реалии; астрология и нетрадиционная медицина; наркотики; религия и сектантство; экономика; реалии-экзотизмы; различные понятия и реалии жизни. Рассмотрим более подробно эти группы.

Появление первой группы словосочетаний связано с появлением в прилагательном *белый* значения “сделанный в Европе или Северной Америке (о компьютерах, бытовой технике)”: “...при одинаковом качестве белые компьютеры находят больший спрос” (Финанс. известия. 1996. 1 марта); «...безусловное лидерство на западноевропейском рынке шведов, голландцев и немцев как производителей “белой” бытовой техники» (Сегодня. 1995. 18 апр.). Любопытно, что данное значение на-

ходится в семантической оппозиции другим “цветовым” прилагательным: «Стоит сказать пару слов о “цветах” сборки компьютеров. “Сведущие” люди выделяют обычно три таких цвета: “белый” (европейская или северо-американская сборка), “желтый” (сборка стран Юго-Восточной Азии) и “красный” (российская сборка)» (МН коллекция. 1994. апрель). Таким образом, в этой тематической области образовалась контекстуально-семантическая антонимия прилагательных *белый – желтый – красный*. Приобретение данными прилагательными нового, “компьютерного”, смысла происходит в русском языке самостоятельно, так как в английском языке таких переносных значений не зафиксировано.

Второй круг употреблений связан с политическими реалиями. Очевидно, одно из первых упоминаний – использование в языке публицистики словосочетания *Белый дом* для наименования здания бывшего Верховного Совета РСФСР, позднее – Дома правительства. Семантический механизм такого переноса от исходного *Белый дом* (White House) “здание администрации Президента США” представляет совокупность двух процессов: метонимии (по сходству цвета) и функционального переноса (общности выполняемых функций).

В прессе встретилось субстантивированное прилагательное *белые* для обозначения чеченских боевиков, заимствованное, видимо, из профессионального жаргона военных: «”Ложись! Белые идут”, – закричал молоденький офицер своим солдатам при звуке отдаленной автоматной очереди. “Белые”, то есть боевики, спокойно разгуливали по городу, насмешливо поглядывая на белые флаги на крышах российских военных комендатур» (Общая газета. 1996. № 10); в последнем случае метонимический перенос осуществлен по цвету белых повязок воинов ислама.

Возникновение в языке публицистики выражения *белый раб* обусловлено фоновой отсылкой к словосочетанию *черный раб* (первоначально – о неграх Африки): «В поисках заработка воронежец Николай Лыгин лишился свободы, документов. И таких “белых рабов” в горах Кавказа – десятки» (Комс. правда. 1996. 20 марта).

Прагматико-семантическая оппозиция советского времени *белый – красный* в современной публицистике приобрела новое наполнение. С одной стороны, в прилагательном *белый* контекстуально актуализировался семантический элемент “зарубежный, эмигрантский” в смысловой оппозиции *красному* “советский, находящийся в СССР”: «При спорных вопросах о российских землях... израильские власти отдавали предпочтение “красной” церкви, а не “белой” – то есть зарубежной» (Комс. правда. 1994. 29 янв.). С другой стороны – семантический элемент “оппозиционный, демократический; прогрессивный” в противопоставлении значению “коммунистический; консервативный”. Следует заметить, что в прилагательном *белый* оба эти компонента слиты во-

едино – прагматика и семантика идут рука об руку: «Сычев не стал делить территории на “красные” и “белые” и заявил, что... нельзя сводить раскладку сил в регионах к двухполюсной структуре... что политический спектр там более широк» (Независ. газета. 1996. 24 июля).

Оказался востребованным старый, идущий из дореволюционных времен, но в советское время оттесненный на периферию смысл “дворянский, знатный по происхождению, привилегированный” с дополнительным “семантическим приращением” (термин Б.А. Ларина) постсоветского времени “номенклатурный; использующий свое служебное положение, благоприятную ситуацию”: «Частичное снятие ограничений с запрета купли-продажи земли и развернувшаяся вслед за этим ожесточенная борьба за снятие всех ограничений вызвали наплыв так называемых “белых фермеров”, бесплатно получивших землю, чтобы ее потом продать. Это, как правило, чиновники, имеющие доступ к земле, члены их семей, родственники, знакомые и т.д., а также предприимчивые горожане, успевшие нажить капитал. Ими забираются наиболее плодородные участки значительно большего размера, чем получают в этих же регионах истинные фермеры» (Правда. 1993. 19 нояб.).

Астрология и нетрадиционная медицина являются, несомненно, одной из важнейших составляющих современного российского быта. Устойчивые сочетания с прилагательным *белый* в этой области имеют значения, сформулировать которые довольно трудно, так как они основываются на прагматических и символических коннотациях “положительный, позитивный, чистый; добрый” и противопоставляются прилагательному *черный* в символическом значении “отрицательный, плохой; злой”: “Наш корреспондент встретился с известным белым магом, экстрасенсом международного класса, одним из 3-х самых лучших и сильных специалистов в этой области России – Александром Михайловичем Сквирским” (АиФ-СПб. 1995. № 20); “Передо мной, оказывается, сидела ни много ни мало одновременно белая магия и контактерша, колдунья и доктор альтернативной медицины” (Сельская жизнь. 1995. 2 марта); «Я вывожу “черную энергию” и очищенные каналы полностью “белой энергией” радости и спокойствия» (АиФ-СПб. 1994. № 39).

Тема наркотиков по сравнению с прессой 60 – первой половины 80-х годов, когда наркомания обсуждалась преимущественно в контексте западного образа жизни, стала очень актуальной для современного российского общества. В данном прилагательном появились переносные употребления “очищенный, белого цвета (о наркотике)”: «[Клод Оливерштайн:] Исцеленными из моей клиники уходят те, кто пришел добровольно, кто сам решил отказаться от иглы, травы и “белого порошка»» (Труд. 1995. 14 окт.); «Наркотики, которые сейчас в обиходе, можно разделить на две категории. Первая – опийные, которые делают из мака. По действию – снотворные. Вызывают зависимость, “ло-

мает” от них. Вторая – психостимуляторы (“белое”») (Веч. Петербург. 1997. 25 февр.).

В 90-е годы активизировались различные религиозные секты и организации, для их обозначения понадобились новые номинативные средства; очевидно, у всех на памяти *Белые братья*, *Белая церковь*: «Многочисленные свидетели утверждают, что в последнее время в лес, прилегающий к монастырю [Оптиной пустыни], очень часто ранним утром или поздним вечером приезжают люди в белых балахонах с острокопечными капюшонами и совершают там непонятные ритуалы. В частности, “белые монахи” приезжали и за три дня до убийства паломника Георгия, расположились у того же колодца, один из пятерых лег на землю, а четверо совершали над ним загадочный ритуал (...) Сведущие в вопросах оккультизма люди говорили, что именно так происходит обряд посвящения в колдуны и что последующее убийство на том же месте носит тоже ритуальный характер, является кровавой жертвой” (АиФ. 1995. № 16); «Христианство учит прощать, а “Белые братья” – мстить жестоко и беспощадно (...) Наконец, главный враг “Белых братьев” именно христианская церковь, которую они называют не иначе, как “прибежище Сатаны”» (Труд. 1993. 13 нояб.). Семантический механизм – метонимия: цвет одеяния переносится на обозначение членов секты.

В следующую группу входят экономические понятия: «...в Латвии в марте месяце войдут в обращение “белые деньги”. Белые – это в противовес черному рынку» (Комс. правда, 1990. 30 дек.). Активизация в прилагательном *белый* значения “открытый, законный, честный” связана со смысловой оппозицией прилагательному *черный* в “экономическом” значении – “незаконный, спекулятивный (о рынке, торговле, очереди)”: «[Смерть Ивана Кивелиди] г-н Щербаков связал с террором “черного” бизнеса против бизнеса “белого”» (Веч. Петербург. 1995. 17 авг.); «Очередь в испанское консульство занимают с вечера. (...) Это так называемая “белая очередь”. Существует и “черная”» (Известия. 1995. 29 нояб.). Отметим также жаргонно-речевое словосочетание в языке экономистов, предпринимателей, бизнесменов *белый нал* “предназначенный для официальной отчетности, финансовых органов” (в противопоставление *черному налу* – неофициальному, скрытому от налоговой службы, полиции); это значение широко проникло в средства массовой информации.

Еще одна тематическая группа связана с заимствованием реалий, отражающих жизнь, быт других стран, – экзотизмы: «Почти весь чай, производимый в Китае, делится на шесть “крупных” видов: красный (по-нашему – черный), зеленый, “оолун”, цветочный, белый и прессованный» (Эхо планеты. 1991. № 34); «Прочно исчез с прилавков магазинов “белый Мамед” – так в Туркмении зовут русскую сорокаградусную, столь неудобную сердцу правверного мусульманина, – теперь

только из-под прилавка» (Комс. правда. 1992. 21 июля). Также возможно заимствование перифрастического образа: «Необычно снежной выдалась нынешняя зима в Кыргызстане. (...) Первые свои удары проснувшиеся “белые драконы” здесь уже нанесли» (Правда. 1994. 25 февр.). В первом примере сочетание *белый чай* отражает семантическое распределение цветовых оттенков среди других типов чая – более светлый, чем другие. Словосочетание *белый Мамед* метафорически называет пищевой продукт (водку) по цвету жидкости. Метафора *белые драконы* семантически связана с обозначением снежных бурь и ураганов.

Мы зафиксировали также использование прилагательного *белый* в индивидуально-авторских контекстах. Например, *белый* в семантической оппозиции *черным* клавишам рояля участвует в создании (семантический механизм – метонимия) словосочетания *белая музыка*: “Эта очаровательная женщина сочиняет... белую музыку, играя лишь на белых клавишах рояля” (Комс. правда. 1996. 17 дек.). К индивидуально-авторским следует отнести также появление в прилагательном *белый* значения “открытый, доступный всем; незасекреченный”, производное от его символического значения: «Польский агент поставлял Лысенко разведывательную информацию так называемого “белого”, то есть практически открытого характера: о политических и экономических процессах в граничащих с Украиной воеводствах, тамошних духовных семинариях, о служителях костела и т.д.» (Комс. правда. 1994. 20 янв.). Таким образом, прилагательное *белый* или в сочетании с существительными, или в свободном виде (как субстантиват) в публицистике последнего десятилетия обнаруживает развитие новых семантических возможностей: актуализируются старые, периферийные, почти утраченные компоненты и развиваются или заимствуются новые.

Санкт-Петербург

Ледяной или ледовый?

В.И. КРАСНЫХ,
кандидат филологических наук

Прилагательное *ледяной* (первоначально в написании *ледяный*) существует в русском языке уже в течение нескольких веков. В Словаре Даля это первоначальное написание квалифицируется как устаревшее и в качестве основного рассматривается современный вариант. Начиная со Словаря Ушакова, у паронима *ледяной* традиционно выделяют три основных лексических значения (с некоторыми оттенками). Если их унифицировать и свести воедино, то получится следующее толкование: 1. Покрытый льдом, состоящий, сделанный из льда; обледенелый. 2. Очень холодный, холодный, как лед; застывший, окоченевший. 3. *Перен.* Невозмутимый, презрительно-холодный; равнодушный, безучастный.

В первом значении с прилагательным *ледяной* сочетается весьма широкий круг конкретных неодушевленных существительных, обозначающих преимущественно объекты естественного, природного происхождения: *гора, вершина, холм, грот, склон, поле, пустыня, глыбы, торосы, покров, заторы, сосульки, капли, нити, крупа, жижа, каша, корка, крошево, броня (перен.), деревья* и т.п. Например:

“Неподготовленные люди все чаще приходят в горы не только охотиться, но и штурмовать *ледяные вершины*” (Известия. 1997. 11 дек.); “Далеко пройти не удастся. Выжидаем, а мимо нас проносятся льдины и целые *ледяные поля*” (В. Санин. Не говори ты Арктике – прощай); “Из водосточных труб с оглушительным треском неслись *ледяные глыбы...*” (Ю. Нагибин. Гибель пилота); “Он (Мальмгрен) забрался в *ледяной грот*, разделся, кинул спутникам свою одежду и велел уходить” (Ю. Нагибин. Как был спасен Мальмгрен); “Известно, что много их (немцев) погибло в *ледяной безводной пустыне*” (О. Аросева. Без грима); “Снег сошел, но всюду остались *ледяные корки*. Они были матовы, полупрозрачны” (Ю. Казаков. Осень в дубовых лесах).

Помимо существительных, обозначающих природные объекты, с прилагательным *ледяной* в первом значении могут сочетаться и некоторые существительные, которые обозначают предметы, созданные

человеком специально изо льда и снега или просто обледеневшие: *горка* (для детей), *погреб, яма, дом* (вспомните роман И.И. Лажечникова “Ледяной дом”) и даже *трон; дорога, тротуар, асфальт, поле* (футбольное) и др. Например:

«В честь “звезды” (Аллы Пугачевой) у входа в клуб был возведен *ледяной трон*» (Известия. 1993. 22 мая); “Несет острым мелким снегом, снег косо летит по *ледяному, скользкому асфальту* пустого приморского бульвара...” (И. Бунин. Сны Чанга); “Прошлой осенью сборной пришлось играть в Москве, в снег, на *ледяном поле...*” (Известия. 1993. 15 апр.). При этом интересно отметить, что словосочетание *ледяное поле* имеет двоякий смысл. В одном случае – это значительный участок морского, озерного или речного льда (т.е. природный объект), а в другом – это обычное футбольное поле, обледеневшее после выпавших осадков в результате понижения температуры (ср. соответствующие примеры выше).

Во втором значении (“очень холодный; окоченевший”) со словом *ледяной* сочетаются такие существительные: *ветер, вода, волна, дождь, душ, обливание, струя, напиток, сок, квас, пиво; река, море, озеро, ручей, поток, сырость, испарина, туман, мгла, марево, холод, стужа, температура; комната, зал, веранда, класс, изба; руки, ноги, пальцы, лицо, уши, нос* и некоторые др. Проиллюстрируем сказанное примерами:

“А потом пошло польхатъ раз за разом. От тучи дохнуло *ледяным ветром*, и грозно зашумел, набегая, темный ливень” (К. Паустовский. Аннушка); “Попробуйте контраст – сначала в *ледяную воду*, а потом в горячую ванну” (Домашний очаг. 1999. Июнь); “В лицо брызнуло косям *ледяным дождем*. Ветер пронизывал до костей” (П. Дашкова. Золотой песок); “Выйдя из парилки, Чен невозмутимо встал под *ледяной душ...*” (М. Серова. Драконы на холмах); “Сани двигались в *ледяном мареве*, розовое туманное свечение застилало ему (Зубру) глаза” (Д. Гранин. Зубр); “В *ледяном зале* у балетного станка мы делали упражнения, не снимая пальто и шапок” (О. Аросева. Без грима); “Заказчик почувствовал, что *руки его стали ледяными*” (А. Маринина. Стечение обстоятельств).

Существительные, сочетающиеся с прилагательным *ледяной* в третьем, переносном, значении, связаны в той или иной степени с передачей внутреннего, эмоционального состояния человека и его отношения к другим людям или их действиям и поступкам: *взгляд, голос, тон, нотки, глаза, лицо, высокомерие, равнодушие, вежливость, молчание, спокойствие, деловитость, прием, встреча*. Приведем ряд примеров:

“Я буду записывать все ваши показания на магнитофон, – тем же *ледяным тоном* произнес Бойченко...” (Ю. Аракчеев. Пирамида); “И никто не сверлил ему (Денису) затылок *ледяным взглядом* сквозь трамвайные стекла” (П. Дашкова. Никто не заплачет); “Потом вдруг – раскрасневшие лица сыновей, звучит *ледяной голос* в динамиках...” (АиФ.

1999. № 41); “Он встал и окинул Нагаева горделивым, исполненным *ледяного высокомерия* взглядом” (Ю. Трифонов. Утоление жажды); “Мирон сидел неподвижно, с *ледяным спокойствием*, и всем казалось, что он не слушает...” (Ф. Гладков. Энергия).

Таким образом, прилагательное *ледяной* не претерпело каких-либо существенных семантических сдвигов за последние десятилетия и в указанных трех значениях достаточно стабильно сочетается с определенным кругом существительных.

Что же касается паронима *ледовый*, то впервые оно было зафиксировано в Словаре Даля в форме *ледовой* (с ударением на последнем слоге). В Словаре Ушакова (1938 г.) даются уже две формы этого слова – *ледовой* и *ледовый*. В последующих же толковых словарях окончательно закрепилась форма с ударением на втором слоге.

Интересно отметить тот факт, что время становления и широкого распространения современной формы этого слова непосредственно связано с процессом активного изучения и освоения Арктики (а в последние годы – и Антарктики), что, в свою очередь, потребовало введения в речевой обиход новых номинаций, связанных с длительным пребыванием и работой среди полярных льдов. Поскольку прилагательное *ледяной* не сочеталось с такими отвлеченными существительными, как, например, *плавание*, *экспедиция*, *трагедия* и др., то образовавшаяся лексическая ниша была заполнена его еще не вполне устоявшимся паронимом *ледовый*, что явилось естественным и закономерным с точки зрения разграничения “сфер влияния” этих паронимов. Однако “семантическая экспансия” прилагательного *ледовый* этим не ограничилась – оно стало вторгаться и в сферу давно устоявшейся сочетаемости паронима *ледяной*, в результате чего наряду с традиционно употреблявшимися сочетаниями *ледяной покров*, *ледяное поле* (в знач.: “состоящий из льда”), *ледяные глыбы*, *ледяные торосы* в речи полярников и журналистов, освещавших работу экспедиций в Арктике и Антарктике, а затем и на бытовом уровне стали появляться и входить в речевой обиход синонимичные словосочетания с прилагательным *ледовый*.

Появление новых номинаций с прилагательным *ледовый*, естественно, нашло отражение и в толковых словарях. Начиная со Словаря Ушакова, и в последующих толковых словарях (БАС, МАС) вплоть до настоящего времени (“Большой толковый словарь” под ред. С. Кузнецова, 2000 г.) традиционно выделяются (с небольшими вариациями) два основных лексических значения паронима *ледовый*. Вот как, например, выглядит толкование этого слова в МАС (3-е изд., 1986 г.): 1. Состоящий из льда; ледяной (*л. покров*). // Находящийся, расположенный на льду (*л. дорога*). 2. Происходящий во льдах, относящийся с кажим-л. действиям во льдах (*л. плавание*). БТС под ред. С. Кузнецова практически полностью дублирует это толкование. А между тем по-

добное толкование, с нашей точки зрения, в значительной степени уже является неполным и неточным, поскольку у прилагательного *ледовый* в последние десятилетия появилось совершенно новое значение (с соответствующим оттенком), связанное с проведением на льду не только спортивных соревнований и игр, но и различного вида представлений. К сожалению, даже толковые словари, вышедшие из печати в самые последние годы (1997–2000), не указывают этого значения, хотя упоминание о связи прилагательного *ледовый* с зимними видами спорта и спортивными играми на льду содержится уже в словаре-справочнике “Новые слова и значения” под ред. Н.З. Котеловой (М., 1984).

Исходя из сказанного и учитывая появление новых реалий, связанных с употреблением прилагательного *ледовый*, мы предлагаем уточнить и дополнить толкование этого паронима следующим образом:

1. Состоящий из льда, покрытый, скованный льдами.
2. Происходящий, находящийся во льдах или на льду; связанный с какими-л. действиями среди льдов.
3. Связанный со спортивными соревнованиями, спортивными играми, выступлениями и представлениями, происходящими на льду; специально оборудованный и предназначенный для их проведения.

В первом значении прилагательное *ледовый* сочетается с существительными *континент* (Антарктида), *покров*, *поле*, *глыбы*, *торосы*, *каша*, *мост*, *пространство* и некоторыми другими:

“Валентина Кузнецова добралась до Антарктиды, пока что с целью – изучить условия будущего льжного перехода по *ледовому континенту*” (В. Санин. Не говори ты Арктике – прощай); “3 апреля вышли по следам Чукова. Хаос *ледовых глыб*. Идем с невероятным трудом” (В. Санин. Не говори ты Арктике – прощай. Из дневника В. Хабарова); “Полынья за ночь сошла до трехсот метров, и образовался *ледовый мост*” (Там же).

При этом, как уже отмечалось ранее, перечисленные здесь существительные традиционно сочетаются и с прилагательным *ледяной* (в его первом значении), образуя синонимические конструкции. Более того, в Большой советской энциклопедии и во всех (включая последние) изданиях Российского энциклопедического словаря речь идет исключительно о сочетании таких существительных именно с паронимом *ледяной*: *ледяной покров*, *ледяные поля*, *ледяные глыбы* и др. Таким образом, существуют различные точки зрения на этот вопрос у авторов энциклопедических изданий и у составителей толковых словарей. Возможно, в будущем все же произойдет размежевание этих паронимов, и “спорное” значение окончательно закрепится за прилагательным *ледяной*, но пока (увы!) единого подхода не существует.

Значительно проще обстоит дело с существительными, которые сочетаются с прилагательным *ледовый* во втором значении: *экспедиция*, *плавание*, *поход*, *переход*, *эпопея*, *дрейф*, *плен*, *лагерь*, *приют*, *трагедия*.

дия, трасса, дорога; обстановка, условия, разведка, карта, прогноз, режим, класс (в словосочетании “суда ледового класса”) и т.п. Например:

«В 1934 г. участники ледовой экспедиции “Челюскина” были спасены со льдины летчиками, ставшими первыми Героями Советского Союза» (Известия. 1994. 5 марта); “Один за другим прилетали самолеты. Они доставили в ледовый лагерь все необходимое – 10 тонн грузов” (Д. Шпаро, А. Шумилов. К полюсу!); “По ледовой дороге через пролив автомобилисты перевезли уже много грузов” (В. Ажаев. Далеко от Москвы); “Судьба станции целиком зависела от того, изменится ли ледовая обстановка...” (В. Санин. За тех, кто в дрейфе); «Теплоход “Марина Цветаева” – судно ледового класса» (Радиостанция “Эхо Москвы”. 2001. 16 янв.).

В третьем значении с паронимом ледовый сочетаются следующие существительные: *виды спорта, команда, дружина* (команда хоккеистов), *представление, бал, шоу, элита; стадион, дворец, площадка, поле, дорожка, зеркало* (в значении “поверхность, покрытая слоем льда”), *покрытие, арена, сцена* и т.п. Приведем ряд примеров:

“Москва не собирается в ближайшем будущем принимать у себя ни зимнюю Олимпиаду, ни мировые чемпионаты по ледовым видам спорта” (АиФ. 1999. № 2); “На катке по вечерам проходят ледовые шоу” (Телеканал ОРТ. Непутевые заметки. 2000. 29 октября); “Там, на ледовой сцене, он (С. Жук) по-прежнему был непобедимым маэстро” (Мир за неделю. 1999. 6 нояб.); “Впрочем, по большому счету ничего не меняется в планах нашей ледовой элиты...” (Мир за неделю. 1999. № 16); “Сметная стоимость ледового дворца составляет примерно 85 миллионов долларов” (Новые Известия. 1999. 2 февраля); “Реконструирован тренировочный каток, заканчивают смену ледового покрытия” (Там же).

Помимо таких непривычных словосочетаний, как *ледовый бал, ледовое шоу, ледовая элита*, на страницах газет и журналов появляются совсем необычные и оригинальные словосочетания типа *ледовое королевство* (о совокупности спортсменов и тренеров, имеющих отношение к выступлениям на льду) и даже *ледовый роман* (заглавие статьи в журнале “Домашний очаг“ в марте 1999 г. об И. Моисеевой и А. Миненкове). Все это позволяет сделать вывод о том, что “семантическая агрессия” прилагательного *ледовый* применительно к выделенному нами его третьему значению активно продолжается, вовлекая в круг сочетаемости все новые и новые существительные. Именно в этом и заключается основное различие между “семантическим статусом” паронимов *ледяной* и *ледовый*: первый остается на протяжении многих лет, в основном, стабильным в своих лексических значениях и сочетаемости, а второй подвержен серьезным семантическим сдвигам в условиях изменяющегося социального контекста.

Язык прессы**В ПОГОНЕ ЗА ЭФФЕКТОМ***Блатные слова на газетной полосе*

М.А. ГРАЧЕВ,
доктор филологических наук

Свобода слова породила в среде журналистов своеволие. В погоне за эффектом часто и необдуманно в прессе используются аргогические выражения, для экспрессии, воздействия на читателя востребованы слова худшей части российского общества – воровского мира. Сегодня

лингвистов волнует проблема: насколько уместно и обдуманно употребление арготизмов в средствах массовой информации, как должна строиться речевая политика (См.: Колесов В.В. Русская речь. Вчера. Сегодня. Завтра. СПб., 1998; Скворцов Л.И. Культура русской речи: Словарь-справочник, 1995).

С этой целью был проанализирован ряд газетных материалов начиная с 1995 и кончая 2000 г., а также словник “Толкового словаря русского общего жаргона” (Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И. Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона). Всего было изучено около 2500 словоупотреблений.

В данной статье постараемся выявить причины использования блатных слов в прессе, тематические группы арготизмов, приемы и способы их введения в ткань газетно-публицистического произведения, целесообразность использования ряда арготизмов в прессе.

Замечено, если до второй половины 80-х годов XX в. у журналистов была мода на иноязычные слова (в основном, английского происхождения), то сейчас на блатные слова. Причин проникновения этих слов в язык прессы много, приведем наиболее важные: криминализация общественного сознания, начавшаяся со времен “перестройки”, когда было дозволено делать все, что не запрещено уголовным кодексом (нравственная сторона при этом была забыта); усиление позиций преступного мира (трансформация уголовных сообществ, возрождение старых и появление новых воровских профессий); увеличение количества деклассированных элементов (нищих, беспризорных, проституток и проч.); снятие табу с арго; свобода (воля) слова; отсутствие эквивалента в нормированном языке; экспрессивность арготизмов.

В настоящее время идет процесс привыкания к использованию тюремных слов в прессе. Если в 60–70-е гг. XX в. появление хотя бы нескольких блатных слов в газете вызывало у читателей (особенно у лингвистов и педагогов) шок, то сейчас подобная лексика воспринимается как вполне обычная, общенародная. Вот некоторые ее образчики, ставшие символами, знаменем нашего времени и перешедшие уже в общенародную разговорную речь: *беспредел* “высшее беззаконие”, *заказать* “подготовить заказное убийство”, *отморозок* “преступник, не соблюдающий элементарных воровских правил”, *разборка* “выяснение отношений между враждующими криминальными группировками; разборательство”, *крыши* – “защита от кого-л.”. “Политические разборки” – любимая фраза журналистов (телевидения, радио, газет); “Положить предел беспределу!” – из листовки, выпущенной КПРФ перед выборами. Уже прочно вошли в общенародный язык и обросли различными языковыми связями арготизмы “первой волны” (конца 80-х – начала 90-х гг.), такие слова, как *теневик*, *цеховик*, *теневая экономика*, *грязные деньги* (в арго – “деньги, добытые преступным путем”), *отмывание денег* (т.е. их легализация), *бугор* “заграница”, *свинтить*, *сва-*

лить за бугор “ухать за границу”, *забугорный* “заграничный” и проч.

Часть из них даже обросла словообразовательными формантами, например, *тусовка*, *роктусовка*, *политтусовка*.

Многие блатные слова благодаря частому использованию в средствах массовой информации нейтрализовались и перешли в просторечие: *авторитет* “преступник, обладающий большой неформальной властью в криминальном мире”, *бабки* “деньги”, *балдеть* “наслаждаться от действия наркотиков”, *барыга* “коммерсант”, *братва* “преступный мир, криминальная группировка”, *бык* “рядовой член преступной группировки”, *вор в законе* – “профессиональный преступник, руководящий уголовниками и соблюдающий воровские традиции”, *завязать* “прекратить что-л. делать”, *заказуха* “заказное убийство”, *западло* “унизительно, грешно с точки зрения воровских законов”, *кабак* “ресторан, кафе”, *кидала* “мошенник”, *кликуха* “прозвище”, *круто* “о высшем качестве чего-кого-л.”, *лимон* “миллион”, *малина* “притон преступников”, *мочить* “убивать, избивать”, *наварить* “заработать деньги”, *наехать* “угрожая, заставляя что-л. делать в свою пользу”, *облом* “невезение; лень”, *халява* “дармовщина” и др. Вероятно, какая-то часть этих слов может в недалеком будущем перейти в разговорный литературный язык.

В основном, арготические слова используются в газетных публикациях на криминальную тему, но для выразительности – и в статьях об экономике и политике: “Но и олигархи, и крутые обожают Сашу Починка” (Комс. пр. 2000, 26 дек.). Много их в газетной рекламе. Приведем лишь один штрих: «”Миринда”. Оттянись со вкусом!». *Оттянуться* в молодежном жаргоне означает “насладиться, получить удовольствие”. Но по своей природе это слово воровское, со значением “совершить половой акт”.

Вместе с тем журналисты, описывающие преступный мир, вынуждены использовать арготизмы для объяснения определенных реалий, показа и характеристики уголовной среды, особенно той информации, которая была запретной для общества или выдавалась в дозированных количествах. При этом многие реалии преступного мира приводятся с подробным объяснением: “Здесь *балерина* – сверло для вскрытия сейфов; *бондарь* – содержатель притона; *водопроводчик* – грабитель, проникающий в квартиру под видом сантехника; *грузчик* – тот, кто по сговору берет на себя чужое преступление; *плотник* – изгоняемый из шайки посредством позорного ритуала...” (Понедельник-Криминал. 1999. № 14).

В статьях на другие темы журналист использует арготизмы, чтобы выявить, показать негативные тенденции в политико-экономической области или подчеркнуть связь политика или предпринимателя с уголовной средой. По характеру используемых арготизмов и частотности их употребления можно судить об отношении автора к героям своих

публикаций: в одних статьях сквозит ненависть ко всему уголовному, в других – симпатия.

Нередко арготизмы используются для интригующего заголовка, например: “Меня заказали” (Комс. пр.), “Дума – это не воровской сходняк” (Б. Немцов); “Шухер, мэр! Грядёт отставка” (заголовок статьи в нижегородской газете “Дело”).

Особое место в газетной публицистике занимает лексика, относящаяся к теме “наркотики”. Фактически благодаря журналистам обществу стали известны многочисленные проблемы, связанные с этим злом. Читатели познакомились и с жаргоном наркоманов, который благодаря той же прессе перешел в общенародный язык: *сесть на иглу* “начать употреблять наркотики”, *спрыгнуть с иглы* “перестать употреблять наркотики”, *ширяться* “делать инъекцию наркотика”, *кайф* “наркотик”, *ломка* “наркотическое голодание, которое протекает очень болезненно”.

При этом нельзя не отдать должного тем газетам и журналистам, которые остро, сатирически высмеивают засоренную жаргоном речь отдельных политиков, и особенно “новых русских”. Образчик такой речи содержится в сатирической сказке “Заяц и лиса”, опубликованной в газете “Телемир”:

«Кароче, жил один раз такой пацан, типа Заяц. Держал недвижимость – *правильную реальную хату*, чё-как, ну блин, бунгало ваще. А рядом – два лаптя по карте, одна Лиса-кидала крутилась – ну, типа деловая, блин, *в натуре*. А тут по весняку контору Лисы – бац! – спалила налоговая, и осталась Лиса ни при делах.

Она, такая, имидж на морду прицепила – и до Зайца. Заяц, в натуре, клюв разинул и *лоханулся* конкретно. Сдал свой квадрат, покатил на Канары *оттянуться*. Взад *подгребают*, а Лиса хату уже втихаря на себя зарисовала и сидит, такая, типа *всё пучком и с понтом* здесь выросла. Заяц, такой, в обиду и *бакланит*: “Домой пусти, что ли, *коза, блин*”.

А Лиса *лыбу отшарила* до макушки и тянёт: “Ты чё, лох ушастый, ваще нюх оторвало?..”. Выделенные курсивом слова – из языка уголовников, активно употребляемые “новыми русскими”. К сожалению, их можно встретить и на страницах многих газет.

Журналистские материалы, в которых арготизмы употребляются без надобности, “помогают” профессиональным преступникам в навязывании читателю уголовной морали, способствуют формированию устойчивого противоправного поведения и мысли, что честным трудом ничего не добьешься. (Автору известны приемы и способы профессиональных уголовников рекрутирования молодежи в свои ряды; одним из средств “обращения в преступники” являются арготизмы, которые подменяют “законопослушные” слова, заставляют молодого человека мыслить преступными категориями.) Сейчас же в этом вольно или невольно уголовному “братству” помогают журналисты. Свобода Добра

превращается в свободу Зла. Вместе с уголовной лексикой в наше сознание передается и уголовная мораль. Настораживает и тот факт, что большинство арготизмов употребляется в молодежных газетах (например, в Нижнем Новгороде в газете “Ленинская смена”).

Еще в 60-х годах XX в. выдающийся языковед В.В. Виноградов предупреждал, чтобы художественное произведение не было памятником жаргонологии (Виноградов В.В. О языке художественной литературы. М., 1959). В настоящее время это относится и к прессе. Речь из-за обильного количества арготической лексики становится непонятной рядовому читателю, например: «Местные паханы достаточно благосклонно относились к нему, особенно после того, когда он смог один “замочить” троих мордovorотов, вздумавших проверять его “бандяк” – посылку, присланную его шмарой» (Понедельник-Криминал. 1999. № 36); «Лох выигрывает зную сумму, “нижний” поздравляет его, но внезапно вклинивается “верхний” (как правило, девушка): “Ой, я тоже выиграла билет с таким же номером!”» (Понедельник-Криминал. 2000. № 10).

При этом – журналисты не учитывают того, что сельские жители в большинстве своем не знают городских жаргонов, и тем самым как бы воздвигают языковой барьер между городом и деревней. Причем ряд тюремных слов представлен в статьях и очерках без кавычек и курсива, которые раньше показывали инородность данного пласта лексики. Самое неприятное – то, что журналист привыкает к блатной речи и порой использует в прессе даже те уголовные слова, без которых можно обойтись, для которых в русском литературном языке есть эквиваленты. Например: “Итак, если вы имеете высшее образование и желание *лохануться* (вместо *обмануться*. – М.Г.) – вперед” (Нижегородский рабочий. 1999. № 195); “Несколько раз вырвавшиеся из гостиницы люди прибежали в РОВД, но дежурка, посчитав бойню за обычную *хулиганку* (вместо *хулиганство*. – М.Г.), так и не выехала” (Комс. пр. 1999. № 141); “Что? Паспорт? С 14 лет? Да ты *гонись* (вместо *обманываешь*. – М.Г.)!” (МК. 1997. № 80).

Выборочный опрос городских читателей показал, что они с интересом воспринимают статьи, в которых используются арготизмы, так как этот пласт лексики помогает лучше “прочувствовать то, о чем пишут”. Однако перегруженность текста подобной лексикой приводит к обратному эффекту: не зная значения воровских слов и оборотов и не до конца понимая смысл статьи, читатель теряет интерес к написанному.

Опрос журналистов выявил: нередко те не задумываются над тем, что употребляют арготические слова. Многие из них считают, что использование арготизмов позволяет без пространных комментариев давать эмоциональную оценку происходящего.

Однажды провели такой эксперимент: из текста газетной статьи убрали арготизмы и заменили их общеупотребительными словами:

“Выскочили быки и кричат – ты нам тачку помял, чехли две штуки баксов!” (Ленинская смена. 1999. № 1).

Исправленный вариант:

“Выскочили наглые молодые люди и кричат – ты нам автомашину помял, отдавай две тысячи долларов!”.

Безусловно, второй вариант заметно проигрывает по силе выразительности. Однако в подобных случаях сила экспрессии зависит от мастерства автора. В приведенном примере журналист пошел по пути наименьшего сопротивления, употребив далеко не лучшую лексику русского языка, ту, которая лежит на поверхности, не попытавшись использовать богатства языка. Тем самым журналист не только не обогащает свой словарный запас, но и огрубляет язык прессы, делает его примитивным.

Нам нужен действенный закон о русском языке, направленный на то, чтобы защитить его, признать частью российской духовности, культуры. Очень важно “спрашивать” с редакторов газет за использование ненормативной лексики. Нужно исключить ситуацию, когда ученый-лингвист, учитель стараются раскрыть красоту русского языка, а СМИ в погоне за эффектом употребляют непотребные словечки. Фактически сегодня в России функционируют три вида речи: речь СМИ и политиков, речь улицы и та, которой обучают в школе и вузе. Между ними – пропасть.

Журналист должен помнить, что он ответствен за русский язык, за его судьбу и, в конце концов, за ментальность русского народа. Именно он в большей степени “призван сохранить великую силу русского слова, разумного и ладного, красивого и содержательного” (Колесов В.В. Русская речь. Вчера. Сегодня. Завтра. СПб., 1998).

Нижний Новгород

К 125-летию со дня рождения



*Воспоминания о Московской
диалектологической комиссии*

Н.Н. ДУРНОВО

В истории русской филологической науки имя и труды Николая Николаевича Дурново занимают особое место. Страстный собиратель старины и талантливый лектор, он не просто был одним из самых одаренных людей в ученом мире конца XIX – первой трети XX века. Н.Н. Дурново не только хорошо знал памятники старинного письма разных жанров и стилей, наречия русского языка, но и великолепно владел славянскими языками, любил и почитал малорусскую литературу. Чем бы ни занимался ученый, он всюду старался проникнуть в естество предмета, объяснить на основе многочисленных сравнений и богатых личных познаний те или иные языковые процессы и закономерности.

Н.Н. Дурново принадлежал к старинному дворянскому роду, ведущему свое начало от “муж честна рода” Индриса (при крещении Леонтия), который в 1353 г. выехал воеводой в Чернигов “из немец, из Царские земли”. Фамилия Дурново одного происхождения с родом Толстых. Один из предков Николая Николаевича, Андрей Харитонович Толстой, находился на службе у Великого князя Московского Василия Васильевича. Отец Н.Н. Дурново в начале своей деятельности, продол-

жая семейную традицию, служил в армии, а затем, выйдя в отставку, занимался публицистикой. Позже свое фамильное имя – деревню Парфёнки Рузского уезда Московской области – Н.Н. Дурново описал в лингвистическом очерке, представив говор этого района.

Николай Николаевич Дурново родился в Москве 23 октября 1876 года. В 1895 г. он окончил 6-ю гимназию с серебряной медалью и в том же году поступил на историко-филологический факультет Московского университета. По окончании курса обучения Н.Н. Дурново был оставлен на кафедре русского языка и литературы.

С начала 1900-х гг. выходят многочисленные работы ученого по славяно-русскому языкознанию, диалектологии, литературоведению, истории и палеографии. В 1902 г. его избирают членом-корреспондентом Московского археологического общества. Позже он становится приват-доцентом Московского университета, а в 1910 г. переводится на кафедру русского языка и словесности Харьковского университета.

Дореволюционный период деятельности был самым плодотворным для Н.Н. Дурново. Он выпускает несколько хрестоматий для практического изучения истории русского и украинского языков, участвует в работе Московской диалектологической комиссии. В 1914 г. вместе с Д.Н. Ушаковым и Н.Н. Соколовым он издает “Диалектологическую карту русского языка в Европе”.

В 1918 г. Н.Н. Дурново – профессор Саратовского университета. В 1924 г. он избран членом-корреспондентом АН СССР. Тогда же ученый публикует оригинальный “Грамматический словарь”, где дает описание морфологической и фонетической терминологии.

В 1924 г. он уезжает в командировку в Чехословакию, но, не вернувшись в срок, оказывается “невозвращенцем”. В университете г. Брно он читает курс истории русского языка, изданный впервые там же в 1927 г., публикует в славянских журналах многочисленные заметки и рецензии. В эти годы ученый тесно общается с Р.О. Якобсоном и Н.С. Трубецким, проникается идеей евразийства – оригинального течения русской эмигрантской мысли, развивавшего тезис о самобытности русской (славянской) культуры, ее “особости”, по сравнению с западноевропейской.

Финансовые трудности Н.Н. Дурново за границей все более усугублялись. А его семья по-прежнему оставалась в Москве. Поэтому, получив приглашение переехать в Минск, он соглашается, и в начале 1928 г. его избирают академиком вновь созданной Белорусской академии наук. Но вскоре ему пришлось покинуть Минск из-за развернувшейся борьбы с “нацдемами”.

Вернувшись в Москву, ученый некоторое время сотрудничает с Московской диалектологической комиссией. Но сменившаяся конъюнктура времени и переориентация деятельности комиссии в сторону социологизаторства не позволили ему плодотворно трудиться. Он посто-

янно испытывал материальные затруднения, не имея надежной работы и получая жалование за редкие публикации, договоры. В начале 1930-х гг. был задуман труд, получивший позже название “История русского литературного языка XVII–XIX вв.”, который должны были написать Н.Н. Дурново и В.В. Виноградов. Но арест ученого в 1933 г. и последовавшее за ним изъятие его рукописей помешали ему закончить и подготовить к изданию свою часть книги (период до XVII века).

Н.Н. Дурново арестовали по делу “Российская национальная партия”, сфабрикованному НКВД, и осудили на 10 лет лагерей. Заключение он отбывал в тяжелейших условиях на Соловках, где в 1937 г. был повторно осужден, а в октябре того же года расстрелян¹.

Сейчас едва ли возможно со всей полнотой оценить сделанное ученым в науке, которой он был предан до конца своих дней. Но одно нам кажется несомненным: его теоретические разыскания не являлись отвлеченными схемами. Он всегда старался проверять на практике гипотезы, обрабатывая огромное количество рукописного материала. Многие идеи этого тонкого исследователя в области истории русского и славянских языков и сейчас современны.

“Воспоминания” публикуются впервые по машинописной копии, сохранившейся в материалах протоколов 189-го заседания Московской диалектологической комиссии (заседание состоялось 6 февраля 1929 г.), посвященного 25-летию со дня ее основания (Архив РАН. Ф. 502. Оп. 3. Ед. хр. № 71. Лл. 6–10).

* * *

Не помню точно, кому из нас первому, Григорьеву² или мне, кажется, что Григорьеву, пришла в голову мысль организовать кружок³ для изучения русского языка. Я больше его чувствовал потребность поделиться своими мыслями, касающимися лингвистических вопросов, с другими, чем Григорьев, потому что в это время был занят печатаньем своей первой большой работы по диалектологии – Описания говора д. Парфенок⁴, – которая являлась как бы энциклопедией моих тогдашних знаний по языку. Попутно с этим шла подготовка к магистерским экзаменам, чтение лингвистических работ... Хотелось высказаться, посоветоваться, поучиться, и я, естественно, искал такую среду, в которой можно было бы высказаться. Правда, Григорьев в этом случае много дать не мог. Его интересы были больше филологические: чисто лингвистической стороной дела он не интересовался. Когда несколько позднее в наш кружок вошел Д.Н. Ушаков и стал развивать мысль, что недурно бы расширить задачи нашего кружка, сделав его лингвистическим вообще, не ограничивая его только русским языком, Григорьев был недоволен; он предпочитал, чтобы кружок остался при чисто фи-

лологических заданиях. Зато Григорьева привлекали задачи организаторского типа. Ему хотелось поскорее создать четкую классификацию старинных письменных памятников по языку, добиться экономного разделения труда по приведению в известность диалектологического материала и т.д.

С самого начала кружок был очень невелик. На первом заседании нас было только пятеро: кроме Александра Дмитриевича Григорьева и меня, также Николай Николаевич Соколов, Иван Мемнонович Тарабрин, самый аккуратный посетитель всех заседаний Кружка до его преобразования в Комиссию, несмотря на то, что его интересы и тогда лежали в значительной степени вне той области, которая была предметом занятий Кружка и Комиссии, и живший тогда в Москве молодой словинский ученый, ученик Ягича, Райко Райкович Нахтигаль, теперь профессор славянской филологии в Люблянском Университете, еще недавно выпустивший ценную работу по русскому ударению.

Нахтигаль посещал аккуратно все заседания кружка до своего отъезда на родину. Все мы пятеро были по Университету однокурсники, кончили в 1899 году. Григорьев, Соколов, Тарабрин и я – Московский, Нахтигаль – Венский Университет. Д.Н. Ушаков вошел в наш кружок только с 5-го заседания, т.е. через 2 с небольшим месяца. Кроме Д.Н. Ушакова, Кружок постепенно пополнялся и другими лицами, сначала студентами, как Аркадий Степанович Мадуев, Николай Васильевич Васильев, Николай Николаевич Кононов, а затем и лицами старших выпусков, как Александр Сергеевич Орлов, Валерий Александрович Погорелов (теперь профессор Братиславского Университета), Николай Иванович Шатерников и др.

Когда основывался Кружок, я лично еще не специализировался по изучению языка, как позднее. Главные мои интересы были направлены на изучение старинной литературы и устной словесности. В изучение языка я только начинал втягиваться, обрабатывая свои записи фольклорного характера, сделанные мною у себя в деревне – в Парфенках б. Рузского, теперь Воскресенского уезда Московской губ., затем в Калужской губ. В нижнем течении р. Угры и от случайно встретившихся крестьян других губерний. Попутно с записями фольклорного материала я делал наблюдения и над разговорным языком. Но лингвистом стать тогда я не собирался; моя лингвистическая подготовка была очень слаба. В программе магистерских экзаменов, к которым я тогда готовился, стоял и русский язык, но профессор Р.Ф. Брандт⁵, дававший нам программу по русскому языку, ограничивал свои требования немногими старыми работами. В программе почти не было работ А.А. Шахматова, потому что проф. Брандт находил, что эти работы слишком трудны для усвоения. По общим вопросам языковедения и по сравнительной грамматике индоевропейских языков не требовалось ничего. Знакомство со славянскими языками и то только с двумя, од-

ним западным и одним южным, требовалось лишь практическое; сравнительная грамматика славянских языков не требовалась и не была нам известна даже в объеме университетского курса, так как такого курса в Университете не читалось. Понятно – что, готовясь к магистерскому экзамену, изучая народные говоры, работая над описанием старинных рукописей, я не мог довольствоваться той программой, которая была нам дана проф. Брандтом, и, конечно, читал работы Шахматова, которые боялся нам рекомендовать проф. Брандт, и др. работы по русскому, славянскому и общему языковедению, но все же моя лингвистическая подготовка оставалась очень слабой и несистематичной, а в моих познаниях по сравнительной грамматике славянских и индоевропейских языков оставались большие пробелы, не совсем восполненные даже и до сих пор. Григорьев и Тарабрин были от лингвистики еще дальше меня. При таких условиях ясно, какое значение для Кружка с самого его возникновения имело присутствие в нем чистого лингвиста Н.Н. Соколова и слависта, уже тогда хорошо знакомого с сравнительной грамматикой славянских языков, Р.Р. Нахтигала.

Н.Н. Соколов⁶ был необходим нашему Кружку и Комиссии, как чистый лингвист. Но я бы назвал его душой и идеологическим руководителем Кружка и, в особенности, Московской Диалектологической Комиссии, имея в виду то обстоятельство, что Комиссия направлением всей своей деятельности, пониманием своих непосредственных задач, постановкой вопроса о методах и задачах собирания диалектологических сведений и освещением добытого ею диалектологического материала в значительной степени обязана Н.Н. Соколову. Он первый в Комиссии указал на необходимость различать переходные и смешанные говоры и первый дал определение и тех и других, изложенное в его статье “Определение и обозначение границ русских говоров”, начинающей собою 1-й выпуск Трудов МДК⁷, но впервые сформулированное им еще в 1904 г., в докладе о некоторых переходных говорах западной части Тверской губ., прочитанном на 9-м заседании МДК⁸. Это определение легло в основу понимания переходных и смешанных говоров в “Очерке русской диалектологии”, приложенном к изданному Комиссией “Опыту диалектологической карты русского языка в Европе”⁹, и во вступительной главе моих “Диалектологических разысканий”¹⁰ 1918 года. Н.Н. Соколов в этом случае не был вполне самостоятельным: предлагаемое им разграничение чистых, переходных и смешанных говоров проводилось некоторыми и раньше, но, кажется, никто до него не делал этого с такой последовательностью и не клал этого в основу диалектологических наблюдений. Для нас, членов Комиссии, это нововось, которая была нами усвоена и положена в основу наших дальнейших работ. В связи с учением о переходных говорах стоял и исторический подход к их изучению, проводившийся Н.Н. Соколовым во всех его диалектологических работах, в том числе и его в погибшем иссле-

довании по литовской (жемайтской) диалектологии. Исторический метод в применении к переходным говорам Н.Н. Соколов понимал в смысле выяснения первоначальной основы говора и тех черт, какие явились в нем под влиянием других говоров. При определении этих черт приходилось выяснять, со стороны каких говоров идут влияния и насколько эти влияния сильно изменили первоначальный характер говора и приблизили его к говорам на него влиявшим. Может быть, я изложил здесь принципы, применявшиеся Н.Н. Соколовым при изучении переходных говоров, недостаточно полно и ясно. Думаю, однако, что сейчас важно не это, а важно указать, что эти принципы были целиком приняты Комиссией и направили ее текущую работу по определенному руслу.

Н.Н. Соколов за то время, пока он работал в Комиссии, много раз предпринимал диалектологические поездки¹¹. Все эти поездки были направлены в области с переходными говорами (между северновеликорусскими и южновеликорусскими и между великорусскими и белорусскими говорами), имели целью выяснить в самых общих чертах основные тенденции в современной эволюции этих говоров, установить их первоначальную основу и определить пути и характер позднейших наслоений в этих говорах, идущих со стороны других говоров. В постановке таких вопросов и их разрешении – главное значение этих поездок; сырого диалектологического материала они давали сравнительно мало.

Поездки как самого Н.Н. Соколова, так и других членов МДК были по большей части согласованы с планом, выработанным Комиссией, а в выработке этих планов едва ли не главнейшая роль принадлежала Н.Н. Соколову. В согласии с его пониманием задач и методов исторической диалектологии большая часть диалектологических экскурсий, организованных МДК, была направлена в область переходных говоров.

В области изучения русской диалектологии Н.Н. Соколов, несмотря на многочисленные поездки, сделал все же сравнительно мало. Но его влияние на работу самой Комиссии и ее членов было огромным.

Могу вспомнить еще одну сторону в деятельности Н.Н. Соколова как члена и руководителя МДК. Это – его доклады, касавшиеся синтаксиса русского языка¹². И здесь он, хотя и не дал много, но острой постановкой принципиальных вопросов сильно содействовал возбуждению наших интересов к этому мало его интересовавшему в то время отделу грамматики и направлению наших позднейших работ в этой области.

Примечания:

¹ Более подробно с биографией и научной деятельностью Н.Н. Дур-

ново можно ознакомиться в следующих изданиях: Булахов М.Г. Дурново Николай Николаевич // Восточнославянские языковеды. Библиографический словарь. Т. II. Минск, 1977. С. 184–193; Сумникова Т.А. Николай Николаевич Дурново (1876–1937) // Русская речь. 1981. № 5. С. 93–100; Робинсон М.А., Петровский Л.П. Н.Н. Дурново и Н.С. Трубецкой: проблема евразийства в контексте “Дела славистов” (по материалам ОГПУ – НКВД) // Славяноведение. 1992. № 4. С. 68–82; Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. Николай Николаевич Дурново // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1993. Т. 52. № 4. С. 54–68; Калиткин Н.Н., Калиткина Е.Н. Предок Толстых и Дурново – чех? // Там же. С. 69–71; “Дело славистов”: 30-е годы / Отв. ред. акад. Н.И. Толстой. М., 1994; Letters and Other Materials from Moscow and Prague Linguistic Circles, 1912–1945 / ed. by J. Toman. – Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1994 (Cahiers Roman Jakobson, 1); Живов В.М. Н.Н. Дурново и его идеи в области славянского исторического языкознания // Дурново Н.Н. Избранные работы по истории русского языка. М., 2000. С. VII–XXXVI.

² Григорьев Александр Дмитриевич – один из основателей Московской диалектологической комиссии.

³ Первое заседание Московского лингвистического кружка состоялось в сентябре 1901 г. (см.: Архив РАН. Ф. 502. Оп. 3. Ед. хр. № 71. Лл. 2–5). Позднее кружок был преобразован в Московскую диалектологическую комиссию. Подробнее об этом см. очерки Д.Н. Ушакова в кн.: Ушаков Д.Н. Русский язык. М., 1995. С. 261–296.

⁴ См.: Дурново Н.Н. Описание говора деревни Парфёнок Рузского уезда Московской губернии // Русский филологический вестник. 1900. Т. 44. № 3–4; 1901. Т. 45. № 1–2; 1901. Т. 46. № 3–4; 1902. Т. 47. № 1–2; 1903. Т. 49. № 1–2; 1903. Т. 50. № 3–4.

⁵ Брандт Роман Федорович (1853–1920) – известный русский филолог-славист и педагог, член-корреспондент Императорской АН.

⁶ Соколов Николай Николаевич (1875–1923) – известный русский диалектолог и педагог, один из основателей Московской диалектологической комиссии.

⁷ См.: Труды Московской диалектологической комиссии. Вып. 1. Варшава, 1908. С. 1–6.

⁸ Материалы этой экспедиции опубликованы в изданиях: Соколов Н.Н. / Предварительный отчет о поездке в Тверскую губ. с диалектологической целью летом 1904 г. // Этнографическое обозрение. 1904. Кн. 62. № 3. С. 130–131; Соколов Н.Н. Отчет о поездке в Тверскую губ. с диалектологической целью летом 1904 г. // Труды Московской диалектологической комиссии. Вып. 1. Варшава, 1908. С. 36–45.

⁹ См.: Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с приложением очерка русской диалектологии // Русский филологический вестник. 1915. № 4 [Т. 71, вып. 2]. С. 211–344; то же отд. изд.: М., 1915 (в соавторстве с Н.Н. Дурново и Д.Н. Ушаковым).

¹⁰ См.: Дурново Н.Н. Диалектологические разыскания в области великорусских говоров. Ч. 1. Южновеликорусское наречие. Вып. 1–2. М., 1917–1918.

¹¹ Сведения о диалектологических поездках Н.Н. Соколова и его научной деятельности см. в изд.: Булахов М.Г. Соколов Николай Николаевич // Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды: Библиографический словарь. Т. 3. Мн., 1978. С. 215–217; Дурново Н.Н. Николай Николаевич Соколов [Некролог] // Slavia, roč. 2, seš. 1. Praha, 1923. С. 187–188.

¹² См., например: Соколов Н.Н. (Рец.). Синтаксис русского языка в исследованиях Поттебни. Изложил И. Белоруссов. Орел, 1902 // ИОРЯС. 1903. Т. 8, кн. 2. С. 347–366.

Вступительная статья,
публикация и примечания
О.В. Никитина





“Почитают ее приворотною травю...”

О колдовских растительных атрибутах

*Н.А. КРИНИЧНАЯ,
доктор филологических наук*

При упоминании о привораживании посредством волшебных трав всплывает в памяти картина М.В. Нестерова “За приворотным зельем” (1888 г.), написанная с полным знанием крестьянского быта и народных верований. На переднем плане девушка в старинном сарафане-костыче, в парчовой душегрее, на голову накинута шитый белый плат. Потупившись, сидит она на скамье возле вросшей в землю избушки. Вокруг цветение трав. “Героиня моей оперы-картины отличается глубоко симпатичной наружностью, – отмечал в одном из писем художник, – лицо ее носит, несмотря на молодые годы, отпечаток страданий. Она рыжая (в народе есть поверье, что если рыжая полюбит раз, то уже не разлюбит) (...) мне мою героиню жаль от души” (Нестеров М.В. Из писем. Л., 1968). На втором плане выразительная фигура седобородого

колдуна. Распахнув “на пяту” дверь, блеснувшую кованым “секирным” замком, и согнувшись под притолокой, чтобы переступить через высокий порог, он пристально всматривается в лицо девушки из-под низко надвинутого колпака, догадываясь о цели ее прихода: к порогу ведуна струится тропинка, натопанная многими ее предшественницами...

Приворотное зелье или приготовленный из него напиток – устойчивый атрибут колдовства в мировом фольклоре, в мировой литературе. Как наиболее яркий пример, ставший со временем знаком-символом, вспомним один из сюжетов европейского средневековья. Мать Изольды (Исольды) предназначает волшебный *любовный напиток* Изольде и Марку перед их брачной ночью. Но на корабле по ошибке его выпивают Тристан и Изольда. Их охватывает страсть, непреодолимая, неподвластная человеческой воле и разуму.

Аналогичные коллизии, где *приворотное зелье* или *любовный напиток* нередко выступают в роли едва ли не основного действующего лица, обнаруживаются и в русских мифологических рассказах, заговорах, поверьях. В них фигурируют свои тристаны и изольды, не уступающие европейским по силе накала страстей.

Неразделенная или угасшая любовь, разрушенная гармония в семейных отношениях – основные поводы для обращения одной из сторон к колдунам и знахарям, в чьей власти находится могущественная сила волшебных приворотных зелий. Вот как об этом повествует один из рассказчиков: «Призарила девка Савелья, да так призарила, что в ту же пору хоть камень на шею да в воду; и сватов подзасылал он к отцу Анны, и сам-то плакался ей: “пойди да пойди за меня: тебе хуже на будет!” Нет: девка шутит, хохочет, а пути нет; и к *знахаркам-то ходил*, что в неделю пересватывают свадьбы, за *присушными зельями*» (Харитонов А. Очерк демонологии крестьян Шенкурского уезда // Отечественные записки. 1848. Т. IV. Отд. VIII. Курсив мой. – Н.К.). Или же муж с женой “чѣ-то начали скандалить”, и дело едва не дошло до развода. Тогда Зина (так звали эту женщину) направилась к “знающему”, чтобы “наладить” – присушить к себе своего Митьку (Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. Сост. В.П. Зинovieв. Новосибирск, 1987. № 280). В другой бывальщине некая Мария Леонтьевна, красивая, богатая, но бездельница – потому муж “изменял и изменял”, не жил с ней – также не нашла иного выхода, как прибегнуть к чарам колдуна, по имени Евлентия Евламповича (Там же. № 281).

В народном представлении “знающий” человек может с помощью зелья (часто в сочетании с водой и огнем) моделировать любовные отношения. Программируя тот или иной их вариант, он подбирает соответствующие травы. Одна из таких ведуний и фигурирует в севернорусском заговоре-присушке. В диалектах она называется *вещица*, *вештица*, а приготовленное ею снадобье (в данном случае – *приворотное зелье*) – однокоренными словами *веща*, *вешти*, *вешетинье*: “В чистом

поле сидит баба сводница, у тоё у бабы у сводницы стоит печь кирпична, в той печё кирпичной стоит кунжэн Литр; в том кунжане Литре всякая вещь кипит-перекипает, горит-перегорает, сохнет и посыхает...” (Харитонов А. Из записок шенкурца (нравы, обычаи, поверья, суеврия) // Отечественные записки. 1847. Т. 54. № 9–10). Причем сила, заключенная в приворотном зелье, посредством вербальной магии проецируется на объект присушивания и ответное чувство оказывается predeterminedным.

У колдуна или знахаря травы припасены на любой случай. И советы, какими из них и каким образом следует воспользоваться, передаются в их среде из поколения в поколение. Об этом бытует множество рассказов и поверий. Так, согласно одному из них, парень, потерявший всякую надежду на ответное чувство со стороны пленившей его девушки, в отчаянии испытывает как последнее средство силу травы *одолеия* (она отождествляется с водяными растениями из семейства кувшиновых, с белой кувшинкой *Nymphaea alba*, с желтой кубышкой – *Nuphar lutea* либо с растением из семейства молочайных *Euphorbiaceae* (Подробнее см.: Криничная Н.А. Травы-обереги: к семантике растительных образов // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1998). Отчасти дублируя действия самого колдуна, он парит зелье в горшке и дает пить непреклонной (Харитонов А. Врачевание, забавы и поверья крестьян Архангельской губернии, уездов Шенкурского и Архангельского // Отечественные записки. 1848. Т. 58. № 5–6. Отд. VIII. Смесь; Терещенко А. Быт русского народа. СПб., 1848. Ч. V).

Но, пожалуй, наиболее действенным средством приворота служит *любка двулистная*, или *ночная фиалка* (*Platanthera bifolia*) из семейства орхидных (*Orchidaceae*). Вот почему это растение нередко называют *северной орхидеей*. В народе же она именуется *любка*, *ночница*, *люби меня*, *не покинь*. Обладает тонким, приятным запахом, усиливающимся к ночи и перед дождем. Благоухание ночной фиалки, по признанию Ф.И. Тютчева, наполняет душу “невыразимым чувством таинственности”. Атмосферу некой загадочности, исходящей от запаха этого растения, передает и В. Солоухин: “Не отцветая пахнет любка сильнее всего, а в первые минуты цветения, когда в ночной темноте раскроет она каждый из своих фарфорово-белых цветочков (зеленоватых в лунном луче) и в неподвижном, облагороженном росой лесном воздухе возникает аромат особенный, какой-то нездешний, несвойственный нашим лесным полянам”. В соответствии с народными верованиями именно это зелье применяется в любовных чарах. Его собирают “знающие” люди в ночь накануне Ивана Купалы.

Как следует из вятских материалов, травку любку заваривают – приготавливают любовный напиток и спаивают предмету привораживания со словами: “Как эта травка свои листочки любит, так чтоб и он меня любил” (Вятский фольклор: Заговорное искусство. Котельнич, 1994.

№ 254). Посредством приворотного зелья и магических слов, по поверьям, можно вызвать ответное чувство у “любых, по ком сохнешь”. Коллизия, не уступающая рассказам о древнеримском писателе и философе Апулее (около 124 г. н.э.), согласно которым, он, подав богатой красивой вдове Агнисе вместо воды любовный напиток, покорила ее сердце. Правда, будучи привлеченным к суду за колдовство и отрицая свою виновность в чародействе, он утверждал, что причина увлечения Агнисы – его красивая, приятная внешность, и был оправдан.

Такого же эффекта может достичь и тот, кому удастся добыть корень травы *пересыаки*. Возможно, в самом названии этого растения заключена магия приушivanja. На наш взгляд, это искаженное слово, образованное от глагола *пересыаать*, что значит “иссохнуть”. Носыщий при себе корень *пересыаки* становится совершенно неотразимым: его любят “женка и девка”. Чтобы завладеть сердцем красавицы, использовались и другие, более изощренные средства приворота. Вот одно из них. В платье “любимой особе” да так, чтобы ей было и невдомек, нужно зашить ладанку, в которой содержится высушенный на полдневном солнце и истолченный в порошок *девясил* (*Inula*): по поверьям, он имеет девять волшебных сил (“девять сильных вещей”), что отражено в русском названии. Используемая для приворота трава должна быть сорвана накануне Иванова дня и смешана с “росным ладаном”, т.е. с пахучей смолкой дерева *стиракса* (*Stirax benzoin*). Перед тем как употребить этот растительный атрибут, имеющий, помимо прочих, тонизирующие свойства, парень должен был носить его у себя на теле девять дней, не снимая. Магическая сила растения, подкрепленная сверхъестественными свойствами пота, заключающего в себе часть жизненной силы самого человека, оказывалась спроецированной на предмет воздыханий. Такой же результат якобы достигался, если ладанка была незаметно подsunута в подушку привораживаемого.

Как повествуется в мифологических рассказах и поверьях, есть и иные средства приворота. Например, если за парня не отдают девушки или, наоборот, парень от нее “отбегает”, то дело для владеющего магической силой зелий поправимо. Стоит только положить корень травы *визил* (*вязиль*, *вязель*) под порог или “под воротню”, как жених пойдет и невесту с собой возьмет. Если же он попытается уйти без невесты, то не сможет выехать со двора (Самолечение простого народа по травникам // Олонекские губернские ведомости. 1884. № 43). “Вязелем” в народе именуется несколько трав. Их же называют и “горошком”. Действительно, в основном это растения из семейства *бобовых* (*Leguminosae*): например, *люцерна* (*Medicago sativa*), *чина* (*Lathyrus*), разного рода *горошек* (*Vicia*). “Вязелем” в народе называются и некоторые растения из семейства *розоцветных* (*Rosaceae*), и прежде всего *лапчатка*, *калган* (*Potentilla*). По-видимому, вяжущие свойства некоторых из “вязилей” (например, калгана), равно как и сильный приятный

запах (например, чины, душистого горошка), играют в любовной магии не последнюю роль. По законам приворота, они призваны привязать, привлечь друг к другу привораживаемого к привораживающей или наоборот.

Правда, в некоторых случаях оказывается неважным, какое из растений используется для присушки. Так, девушка, вырвав клочок травы (“все равно какой”) “из-под правой ноги, из-под пятки” парня, чью любовь к себе она хотела бы вызвать, кладет его под матицу – потолочную балку, приговаривая слова заговора-присушки: “Как трава сия будет сохнуть во веки веков, так чтоб и он, раб Божий (имярек), по мне, рабе Божией (имярек), сохнул душой и телом и тридесатью суставами” (Нижегородские заговоры / Сост., вступ. статья и коммент. А.В. Коровашко. Нижний Новгород, 1997. № 172). Однако в этом случае вырванный из-под пятки клочок травы приравнивается по своей семантике к выниманию следа. Именно в этом плане и осмысливается исполняемый обряд присушивания, основанный на гомеопатической, или имитативной, магии.

У южных славян роль магии цветов, сочетающейся с магией вынимания следа, проявляется более определенно. Девушка берет землю из-под следов своего возлюбленного и наполняет ею цветочный горшок. Она сажает в него *бархатцы* – цветы, которые не увядают. Любовная магия и в данном случае основана на подобию – на преднамеренной имитации искомого результата: как растут, цветут и не увядают эти золотистые цветы, так будет неувядающей и любовь ее милого (Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М., 1980).

Кроме того, в арсенале ведунов-зелейников есть множество трав, которые применяются для восстановления гармонии семейных отношений. Если, случается, между мужем и женой нет согласия, кто-либо из ссорящихся должен нарвать цветков травы *царевы*, или *царские очи*, и принести их в дом: “сварливая и вздорная хозяйка мгновенно делается доброю и послушною” или же между ними водворится тишина и спокойствие (Харитонов А. Врачевание, забавы и поверья крестьян...; Ляметри П. Некоторые черты из крестьянского быта в Мещовском уезде // Экономист. 1862. Т. 5. Кн. 5–6). Кстати, траву *царские очи* как раз и имел в виду Н.Я. Озерецковский, когда писал: “⟨...⟩ некоторые невежды, слывущие ворожеями, почитают ее приворотною травою и обманывают ею влюбленных слепцов” (Озерецковский Н.Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому. 2-е изд. Петрозаводск, 1989). На практике это волшебное растение нередко соотносится с *росянкой круглолистной* (*Drosera rotundifolia*).

Иногда в зависимости от цели использовалась та или иная часть приворотного растения. О мифической траве *синтариме*, которую “знающие” люди даже не пытаются соотнести с каким-либо реальным растением, рассказывают: у той травы корень-человек. Если из него вынуть

сердце и дать тому, чьей любви добиваешься, привороженный “изгнет по тебе”. Если же у этого корня-человека взять голову и поставить ее перед разлюбившим мужем – он полюбит свою жену пуще прежнего. Десную (правую) же его руку, истерши мизинцем, дают пить тому из супругов, кто был не верен, – согласие восстановится (Буслаев Ф. О народной поэзии в древнерусской литературе. М., 1859).

Голова, сердце, рука – вместилища жизненной силы, поэтому они осмысляются как некие действительные мифические существа. Однако чаще в таких случаях используются растения одного вида, но с разными по цвету и половой принадлежности корнями: “Буде муж жены не любит – дай мужу черного [вариант: *серого*. – Н.К.], а ежели жена мужа не любит – дай жене белого (кореня) – и станут друг друга любить [траву *кукуй*, или *кокуй*]” (Самолечение простого народа по травникам).

Если предположить, что наименование данной травы является тождественным таким народным названиям растений, как *кокушка*, *кокушник* (кстати, в Орловской губ. его отвар считают любовным напитком), *кукушка*, *кукушкины слезки* и пр., то в круг предполагаемых оригиналов попадут самые разные растения, и в первую очередь принадлежащие к обширному семейству орхидных. В их ряду, в частности, и трава, известная в народе под названием *кукушкины слезки* (*Orchis masculata*). Иные ее названия: *корешки*, *два корешка*, *кукушка*, *любим корень*, *сердечник* и т.д. Это растение снабжено корневищем в виде приплюснутых клубеньков. Именно такой корень крестьянки носят с собой в качестве приворотного средства в случае раздора с мужьями. Аналогичное воздействие оказывает и корень некой иной травы: “Когда муж жены не любит, и дай ему жёночку съесть, и будет любить, а ежели жена не любит мужа, дай ей мужичка [корень. – Н.К.] съесть, будет любить [траву *копус*]” (Там же). Одна из попыток восстановить подобным способом семейное счастье была зафиксирована документально.

По свидетельству очевидцев, в 1635 году мастерица по вышиванию золотом Антонида Чашникова, сидя за работой в дворцовой палате, нечаянно выронила из кармана *корень неведомо какой*. Обладательница этого корня заподозрили в колдовстве и по приказу самого царя Михаила Федоровича пытали. Выяснилось, что обнаруженное зелье известно в среде ведунов под названием *обратим* (*оборотим*) – от слова *обрат*. В этом названии заключены мифологические представления о магических свойствах некоего растения возвращать утраченное, дать ему обратный ход. Действительно, по народным верованиям, такое зелье “располагает мужа к жене любовью”. Этим свойством растения несчастная и хотела воспользоваться в надежде, что муж, подобрев, перестанет ее бить. Тем не менее и сама А. Чашникова, и женщина (“ведомая ведунья”), давшая ей *обратим*, были подвергнуты опале за колдовство и сосланы в разные стороны, правда, вместе с мужьями.

Аналогичный случай отмечен и позднее, уже в XVIII веке. Жена князя А.В. Долгорукого, пытаясь вернуть привязанность своего мужа, добыла у знахарей “приворотный корень” и “наговор”. Услышав об этом, князь А.В. Долгорукий счел необходимым обратиться в грозный Преображенский приказ с жалобой на жену. Использование волшебных корешков считалось в то время достаточно веским предлогом для обвинения и розыска (Забелин И.Е. Сыскные дела о ворожеях и колдунях при царе Михаиле Федоровиче // Комета: Учено-литературный альманах. М., 1851; Русская женщина XVIII столетия: Исторические этюды В. Михневича. Киев, 1895).

В применении зелья, как следует из мифологических рассказов, возможны трагические ошибки, когда оно оказывает воздействие не на того, кому было предназначено, а на того, кто случайно оказался рядом и вкусил приворотного снадобья. Именно такая коллизия и присутствует в бывальщине. Уже упомянутый колдун Вася Сучок, по просьбе Зины, “изладил” на чай или на суп приворот, чтобы вернуть к ней любовь Митьки. Однако, догадываясь о колдовстве, Митька отказывался есть поданную ему пищу. Тогда Зина попросила его друга пообедать за компанию с ее мужем. В результате присушили не Митьку, а его друга: “Ну вот, этот дядя Вася ходит, ладит. Кушаем вместе. Я раньше эту Зину как и не замечал, а тут! (...) и вот всё подумкиваю это, всё она это передо мной как (...) в глазах эта Зина” (Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 280). Вспыхивает греховная, плотская, непреодолимая страсть. И модель, маркированная именами Тристана и Изольды, реализуется на новой почве очередной версией. Правда, в отличие от Тристана, крестьянский парень обращается к колдуну и возвращает ситуацию к исходному положению с помощью отворота: «Вот так и так, мол, вы Митьку присушали, а присушили меня. – “Ну ладно. С завтрашнего дня не будет этого”» (Там же).

Однако описываются и случаи, когда власть ведуна-зелейника оказывается бессильной над человеческим чувством. Правда, у “знающего” всегда найдутся уловки для оправдания: “Ты не так сделал, как должно было сделать, утратил то или другое; если же ты и в точности выполнил наказ мой, то, верно, кроме той, у тебя на уме бродит еще какая-нибудь девка” (Харитонов А. Очерк демонологии крестьян Шенкурского уезда).

Вопрос о том, насколько реальна привораживающая сила растений, недавно обсуждался ботаниками. Выяснилось, что травы, используемые в гомеопатической, или имитативной, магии по принципу: как пристанет колючка или пух определенного растения, так бы и избранник (избранница) пристал(-а) ко мне – на самом деле не оказывают ожидаемого воздействия на человека. Имеются в виду травы: *лопух*, *череда*, *решешок*, *подмаренник*, *гравилат*, причем последний в “травниках” называется *любимник*, *любим-трава*, *любовь*. Их роль как присушного зе-

ля не выходит за рамки мифологии. Другое дело, когда речь идет о растениях – стимулянтах, тонизирующих деятельность человеческого организма или воздействующих на него подобно алкоголю. То же можно сказать в отношении растений-гипнотиков, повышающих восприимчивость человека к внушению и самовнушению. Однако наибольшее применение, и особенно при составлении любовных напитков, в старину получили растения-афродизиаки (от греческого *afrodisiatikos* – возбуждающий любовную страсть). В числе таких растений и различные дикие орхидеи – *любка*, *ятрышник*, уже нами упоминавшиеся. Среди этих трав есть возбуждающие нервную и мышечную систему или, наоборот, снимающие излишнюю скованность и напряженность.

Немаловажную роль в любовной магии играют и чарующие ароматы. Они исходят от эфирных масел и смол, содержащихся в приворотных зельях, и оказывают влияние через органы обоняния на привораживаемых. Посредством любовного аромата можно возбудить и усилить эротическое чувство (Головкин Б. Любовный напиток, или Кое-что о приворотных травах // Флора. 1998. № 2; Он же. Любовный аромат, или Еще раз о приворотных травах // Флора. 1998. № 3).

Средства же, используемые для отворота, в мифологических рассказах фигурируют гораздо реже. Они скорее характерны для лирики, повествующей об утраченной либо находящейся под угрозой любви:

Ягодиночкина мать
Ходила по полю гулять.
Она искала *той травы*,
Чтобы растались с милым мы [курсив мой. – Н.К.].

(Частушки в записях советского времени / Изд. подгот. З.И. Власова, А.А. Горелов. М.–Л., 1965. № 771).

Петрозаводск

ИЗ ИСТОРИИ ТЕРМИНА *ФАМИЛИЯ*

И.А. КОРОЛЕВА,

доктор филологических наук

Слово *фамилия* (лат. *familia*) появилось в России в Петровскую эпоху и сразу же приобрело определенную активность, так как Петр I поощрял употребление иностранных слов. Однако заимствованное через посредство польского языка из латинского *фамилия* пришло на Русь не с привычным нам современным значением “наследственное семейное именование человека”, а со значением “род, семья” (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1973. Т. IV). Система антропонимических терминов, в частности, термина *фамилия*, прошла вместе с формированием антропонимической нормы долгий и трудный путь развития.

Историю слова *фамилия* по словарям исследовал С.И. Зинин (О термине фамилия // Вопросы ономастики. Труды Самаркандского университета имени А. Навои. Самарканд, 1971. Сер. 1. Вып. 214), но его наблюдения носят фрагментарный характер и не подтверждены анализом фактического материала источников.

Итак, слово *фамилия* “семья, род” стало приживаться в эпоху Петра I: “19-го дня его Величество поехал в Шлютенбурх... встречать свою *фамилию*, цариц и царевен” (Походные журналы Петра I. 1708 г. Здесь и далее курсив наш. – И.К.); “А кто бездетен, и оный волен отдать недвижимое одному *фамилии* своей, кому похочет” (Указы Петра I. 1714 г.); “Указ... недорослям всех *фамилий* высших чиновъ...” (“Доклады в Сенате. 1713 г.” По материалам Картотеки Словаря русского языка XI–XVII вв. Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН).

Достаточно часто употреблял слово *фамилия* в указанном значении Феофан Прокопович: “Ищет сего, и просит у тебя кровь, и племя, и средство твое, вся высокая *фамилия*...” (Слово о Петре I); “...дщерям, внукам, племянницам и всей высокой *фамилии*...” (Слово на погребение Петра I); “...была то монархия, а монархия в единой *фамилии* наследуемая...” (Слово похвальное в день рождения Петра Петровича. Прокопович Ф. Сочинения. М.–Л., 1961). Как видим, Ф. Прокопович

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 01-04-58007 а/Ц.

использовал новое слово *фамилия* с более узким значением – “царская семья, род”.

Фамилия закрепляется в языке – ее засвидетельствовали практически все лексиконы XVIII века: *familie, familia, gens*, род, колено, поколение; фамилия, свои, домашнии, нечужии (Вейсман Э. Немецко-латинский и русский лексикон купно с первыми началами русского языка к общей пользе. СПб., 1731); *фамилия* – “дом, семья” (Нордстет И. Российский с немецким и французским переводами словарь. СПб., 1780–1782. Ч. 1–2). В Российском Целлариусе *фамилия* дана без толкования в разделе “Прибавление чужестранных в российский языке принятых слов”, что подчеркивает новизну лексемы и ее неустоявшийся стилистический статус (Российский Целлариус, или Этимологический Российский лексикон. М., 1771).

Фамилия попадает и в первый толковый Словарь Академии Российской, но его объяснение довольно расплывчато, так как слово еще до конца не освоено языком: *фамилия* (лат. *familia*) – “дом, семья, жена и дети, все родство, поколение” (Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. СПб., 1806–1822. Т. I–VI).

Кстати, материалы Картотеки Словаря русского языка XI–XVII вв., в которой имеются цитаты из источников XVIII и даже XIX веков, подтверждают расширение семантики слова *фамилия* в процессе его закрепления в языке. Оно могло использоваться и в значении “жена”: “*Фамилии* Вашего Сиятельства прошу поклон передать” (1727 г., из частной переписки Анны Иоанновны); в значении “поколение, ряд поколений”: “Иногда целая *фамилия* к чему-либо особенно склонна бывает, род музыкантов, хотя бы Ивлевых, род художников” (Записки Семена Порошина за 1764–66 гг.). Первые же фиксации современного главного антропонимического значения слова *фамилия* – “наследственное семейное именование человека” – засвидетельствованы в памятниках письменности лишь во второй половине XVIII века: “А оставшие здесь... и ныне служат, что вам к сведению приписуется, и о наличных *фамилиях* наших список прилагается” (Комиссия по Соборному Уложению. 1767 г.) К концу века *фамилия* в современном значении попадает во многие образцы документов, в формуляры списков: *чин, имя, отчество, фамилия* (Всеобщий секретарь, или Новый и полный писмовник. М., 1793).

Наиболее активно слово *фамилия* “наследственное семейное именование человека” бытовало в западных регионах Русского государства, особенно там, где сильно было польское влияние. Так, например, в романе неизвестного автора XVIII века “Башня Веселуха”, описывающем жизнь Смоленска в 1783–84 годах, слово *фамилия* обычно.

В лексикографических трудах впервые современное значение слова *фамилия*, ставшее терминологическим в антропонимике, засвидетельствовано лишь в Словаре церковнославянского и русского языка

1847 года, и то оно представлено лишь третьим: *фамилия* – 1) род, племя, поколение, 2) семейство, 3) проименование, прозвание (Т. IV). Также не главным это значение представлено в Словаре В.И. Даля, который отмечает его в структуре слова наряду со значениями “семья”, “род”, “поколение”, “жена” (Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1956. Т. I–IV). *Фамилия* в значении “жена” в настоящее время является устаревшим и просторечным словом, однако встречается в речи сельских жителей достаточно активно. На наш взгляд, оно приобрело определенную экспрессию: *фамилия* – “жена” используется либо как показатель уважительного отношения, либо как насмешливое название. Кстати, еще В.И. Даль отмечал у слова *фамилия* значение “галантерейной вежливости названия супруги, жены” (Даль. Т. IV).

В составе словарной статьи главное современное значение слова *фамилия* появилось лишь в 30-е годы XX века: *фамилия* – 1) наследственное семейное наименование, прибавляемое к личному имени и переходящее от отца (или матери) к детям, а также (до революции, теперь необязательно) от мужа к жене (Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1936–1940. Т. I–IV). Современный толковый словарь представляет следующие значения: *фамилия* – 1) “наследственное семейное наименование человека, прибавляемое к личному имени, переходящее от отца (или матери) к детям”; 2) “ряд поколений, носящих одно наследственное наименование и имеющих одного предка; род, семья”; 3) “семья, члены семьи (разг.)”; 4) “в древнем Риме: семейная хозяйственно-юридическая единица, в которую, помимо кровных родственников, входили и рабы” (Словарь русского языка. М., 1981–1984. Т. I–IV). Как видим, слово по-прежнему многозначно, но основным, безусловно, является значение, ставшее антропонимическим и определяющее наследственное официальное именование человека. Остаются в языке и его ранние значения, заимствованные еще в Петровскую эпоху.

До появления *фамилии* в русском языке бытовали и другие слова, помогавшие выделить человека в обществе и одновременно подчеркнуть его принадлежность к той или иной семье: “Человек ея Артемей Еремеев сын *прозвище* Макаров” (Сдельная запись. 1666 г.); “Именем Козьма *прозвище* Минин” (“Псковская 3 летопись, список XVII в.” По материалам Картотеки Словаря русского языка XI–XVII вв.). А. Балов еще в XIX веке писал, что “*фамилия* есть не что иное, как *прозвище* целого рода, передающееся от родоначальника к его потомкам” (Балов А. Великорусские фамилии и их происхождение // Живая старина. СПб., 1896. Вып. 2). Однако слово *прозвище* было в период формирования антропонимической нормы многозначным и к концу XVIII века закрепилось в языке со значением “дополнительное неофициальное наименование человека, часто экспрессивного характера”: “Того же дни устюжанин Иван Захарьев сын Розницын, Мешалка *прозвищем*, пришел

ис Туглима в лотке, привез старой же товар” (1633 г. Таможенные книги Московского государства XVII века. М.–Л., 1951, Т. 1); “Старица Олена *прозвище* Козья Головка” (Готье Ю.В. Памятники обороны Смоленска 1609–1611 гг. 1609 г. М., 1912).

В XVII веке в значении “семейное именование” бытовал термин *прозвание*, имевший со словом *прозвище* общий производящий глагол *прозвать* “назвать, проименовать, дать имя”: “Ты б тех чернецов велел ропрашивать, в мире оне какого чину, и кто имяны и *прозванием* были, и которого монастыря пострижены...” (Дополнения к Актам историческим. 1683 г. СПб., 1846–1862. Т. X); “Спросил у него имени и *прозвания*” (Разыские дела о Федоре Шокловитом и его сообщниках. СПб., 1884. Т. 1.); “Боярыня некая вдова, именем Василисса, *прозванием* Волохова, с сыном Даниилом Волоховым” (Житие святого Дмитрия царевича. Список XVII–XVIII вв. СПб., 1879).

Слово *прозвание* в указанном значении засвидетельствовано в Словаре Академии Российской: *прозвание* – “проименование; имя, которое весь род имел исстари, или вновь кто принял: Феофан по *прозванию* Прокопович”. Однако термин *прозвание* в значении “наследственное семейное именование” не закрепился в языке, возможно, из-за его родственных связей со словом *прозвище*, которое, как мы отметили, стало использоваться только для обозначения дополнительного, неофициального названия человека: *прозвище* – название, данное человеку в шутку, в насмешку и т.д. (обычно содержащее в себе указание на какую-либо заметную черту характера, наружности, деятельности и т.п. Словарь русского языка. Т. III). Слово *прозвание* в 30-х годах XX века во всех значениях становится устаревшим и областным.

И тем не менее Словарь русской ономастической терминологии фиксирует: “*Прозвание* – вид антропонима. Имя, которое имел весь род исстари и каждый в него входивший” (М., 1988). Лексема *прозвание* была достаточно активна наряду со словом *фамилия* в самых разных актовых материалах XVIII–XIX веков. Так, в письмовниках конца XVIII века равномерно используются в образцах формуляров: *чин, имя, отчество, фамилия; чин, имя, отчество, прозвание* (Всеобщий секретарь, или Новый и полный письмовник. М., 1793). В материалах Смоленской губернской гимназии можно обнаружить ведомости и списки, на протяжении всего XIX в. (особенно активно в первой его половине) имеющие в формулах графы: *чин, имя, отчество, фамилия, должность, вероисповедание* и т.д., а также *чин, имя, отчество, прозвание, должность, вероисповедание* и пр. (Государственный архив Смоленской области).

В XVIII веке в значении “наследственное семейное именование” встречается (правда, нечасто и в основном в текстах книжного характера) и слово *проименование*: “Палицын, Авраамий... писал летопись о царствовании Царя Иоанна Васильевича, *проименованием* Грозного”

(Новиков Н.И. Опыт исторического словаря о Российских писателях. СПб., 1772). Книжным же был и глагол *проименовать* “назвать”. Как мы уже отметили, в первом толковом Словаре Академии Российской лексема *проименование* дана как синоним к слову *прозвание* и со значением, аналогичным современному толкованию термина *фамилия*. Своеобразная “путаница” в употреблении лексем *прозвище*, *прозвание*, *проименование* и *фамилия* в современном значении продолжалась скорее всего еще до середины XIX века, о чем свидетельствуют материалы Словаря церковнославянского и русского языка 1847 г., где толкования всех четырех слов представлены через отсылки друг на друга (Т. III). Помимо того, в некоторых работах ономастического характера в том же XIX веке использовались составные термины, представляющие собой своеобразную контаминацию лексем: *фамильное прозвание*, *родовое прозвание*, *фамильное прозвище* (Карнович Е.П. Родовое прозвание и титулы в России и слияние иноземцев с русскими. СПб., 1886; А. Балов. Указ. соч.). *Проименование* как малоупотребительное, носящее в основном словарный характер, вообще ушло из языка и в настоящее время лексикографическими источниками не отмечается. Полную победу в значении “наследственное семейное именованье человека” одержала *фамилия*, ставшая антропонимическим термином широкого употребления, который вошел в активный словарный запас любого носителя языка.

Тем не менее укажем, что в украинском языке, например, слово *фамилия* в антропонимическом значении используется очень редко – основным является термин *прізвище*. именно это слово закрепилось для обозначения официального наследственного именованья лица (Жовтобрюх М.В. Про термін прізвище” // Журнал “Мовознавство”. Київ, 1969. № 4). В белорусском языке также употребителен именно термин *прозвішча* (Отдельные наблюдения за его историей находим в диссертационном исследовании известного белорусского антропонимиста М.В. Бірылы. Беларуска антрапанімія. Мінск, 1969). Интересно, что и в польском языке, явившемся языком-передатчиком для заимствования лексемы *фамилия*, в современном антропонимическом значении известно в основном слово *nazwisko*. Среди славян лишь у болгар присутствует составной термин *фамилно име*.

Как видим, русский язык освоил заимствование и создал на его основе антропонимический термин для обозначения главного компонента структурной формулы именованья лица.

Топонимика

**“Из земли Залеския в поле Половецкое...”**

Термин *поле* в топонимии Рязанской “украины”

Ю.Ю. ГОРДОВА

Территория современной Рязанской области вплоть до XVI века являлась окраиной русских земель. За ней начинались южные степи, в которых господствовали степные кочевники. Рязанская “украина”, как часто именовали земли Рязанского княжества средневековые памятники письменности, регулярно подвергалась их набегам и разорению. Вследствие этого территория долгое время оставалась неосвоенной, и не только в плане социально-экономическом. Слабо освоенным осталось и топонимическое пространство.

В названиях окраинных земель особенно популярными были именные словосочетания, одним из компонентов которых являлся географический термин *поле*. В его семантике изначально присутствовали понятия “пространство” и “окраинность”.

Существительное *поле* имеет долгую и богатую историю. Она подробно изложена в книге В.В. Колесова “Мир человека в слове Древней Руси”, где он отмечает, что основной семантический стержень лексемы –

обозначение открытого пространства – оставался неизменным на протяжении столетий, однако оттенки значений постоянно менялись, изменяя и область применения слова (Л., Изд. ЛГУ. 1986). Изначально *поле* – простор, естественный промежуток между обитаемыми, освоенными территориями. Позднее, вследствие нивелировки этого значения для его закрепления понадобилось использование уточняющего определения – теперь не просто *поле*, а *чистое поле*.

В средневековых воинских повестях *поле* часто встречается при описании боя, то есть используется в значении “место битвы”. Позднее в таком контексте начинают употребляться и словосочетания *чистое поле*, *дикое поле*, обладающие семантикой “свободное, вольное место”. Именно на таких территориях и происходили столкновения с неприятелем (Там же).

Постепенно на первый план в семантике слова выступает иной признак, который, по сути, являлся отзвуком древнейших представлений: как правило, *подем*, *диким подем*, *чистым подем* назывались о к р а и н н ы е з е м л и. Поле – переходная, пограничная зона от своих земель к землям чужим. В “Слове Софония рязанца” (“Задонщине”) это значение у *поля* ощущается особенно явно: “Уже бо поганьи на поля на наши наступают, отнимают отчину нашу”.

Значение “край” у *поля* иногда воспринималось вполне конкретно. Так, в частности, В. Даль указывал, что *подем* назывались именно южные русские земли; земли, граничащие со степью – зоной распространения кочевников (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. III). В летописях XV века часты записи: “...приходиша Татарове на Рязанскую украину и возвратишяся с полоном в Поле” (“И были полки Ольговы...”: Свод летописных известий о Рязанском крае и сопредельных землях до 50-х гг. XVI в. Сост. А.И. Целков. М., 1994). Связь понятий *поле*, *чистое поле* “с восточными кочевниками, – пишет В.В. Колесов, – всегда явно или скрыто выражается; даже для фольклорных текстов она обычна” (Колесов. Указ. соч.). Подтверждение этому находим в загадках, приводимых В. Далем: *На поле на ареском, на рубеже татарском, стоит дерево ливанское (царское, райское), листья митрофановские, а когда дьявольские (р е п е й н и к); На поле нагайском, на рубеже на татарском, стоят столбы точёные, головы волочёныя (р о ж ь); На поле нагайском, на рубеже татарском, лежат люди побиты, у них головы обриты (с н о п ы).*

Антонимная пара к *поле* – *земля*. В таком контексте *земля* употребляется почти всегда, когда речь идет о внешних врагах Руси. Так, в летописи под 1541 годом читаем: царь татарский “пошел тою же дорогою, которою в землю шол” (И были полки Ольговы...). Оба слова часто употребляются вместе, например в летописи под 1512 годом: “...Магмут царевич Крымской пошел был на Резань”, но узнал, что на

реках Осетре и Уне его ждут русские войска, “и то слышав, Магмут царевич в землю не пошол, а воротился со украины, а воеводы великого князя за ним ходили на Поле до Сернавы да его не дошли...” (Там же).

С другой стороны, *поле* может вступать в антонимические отношения и с *лес*. Противопоставление *поле* – *лес* обнаруживает себя в двух смежных гидронимах Донского бассейна: *Польный Воронеж* – *Лесной Воронеж*, в которых одноименные объекты идентифицируются по месту протекания. *Поле* здесь обладает семантикой “очищенное, свободное от деревьев пространство” – более узкой, чем в паре *поле* – *земля*. Ср. также аналогичные примеры из Орловской гидронимии: *Ливна Полевая* – *Ливна Лесная*.

Топонимическая активность апеллятива *поле*, одним из основных значений которого вплоть до начала XVI века было “окраинные, пограничные земли”, “южные земли”, кажется вполне естественной для территории русского пограничья. В рязанской исторической топонимии известен целый ряд названий, в которых присутствует данный географический термин.

Половецкое Поле – так называлась территория южнее реки Прони (правый приток Оки). Это название упоминается в Лаврентьевской летописи под 1207 годом, где описывается осада князьями города Пронска: “...а сам князь великий ста за рекою с поля Половецкаго” (Полное собрание русских летописей. М., 1962. Т. I).

В названии нашли отражение двухвековое соседство с кипчаками (половцами). Именно к периоду, когда половцы были главными врагами Руси (XI–XII вв.), следует отнести возникновение названия.

Употреблялось оно и во время татаро-монгольского нашествия. Топоним встречается в “Задонщине” (XIV в.): “Ци буря соколи зонесет из земли Залеския в поле Половецкое”. Последнее противопоставляется здесь центральным областям Владимиро-Суздальской Руси, московским и владимирским городам, которые в то время традиционно назывались “залесскими” (со стороны Киева они находились за брянскими лесами).

В топонимии, а вернее микротопонимии XVI века достаточно часто встречается сочетание *дикое поле*. Надо думать, что первоначально это было вполне самостоятельное топонимическое образование, оно служило для наименования вполне конкретного места: *Диким Подем* называлось огромное пространство на юге Рязанского княжества, в бассейне Рановы (правый приток Прони). Существует мнение, что *Дикое Поле* и *Половецкое Поле* – два разных названия одного объекта, то есть названия параллельные. *Половецкое Поле* в некоторых источниках, якобы, называется *Диким* (Города и районы Рязанской области. Историко-краеведческие очерки. Рязань, 1990). Мы не располагаем никакими документальными подтверждениями этого, хотя возможности их существования не исключаем.

Первый компонент названия *Дикое Поле* дополняет и даже усиливает семантику второго компонента. Значение определения может быть истолковано и как “несвоенное, необжитое”, и как “открытое, неведомое, беспокойное, незащищенное, враждебное”. Последнее оправдано тем, что пограничье постоянно жило в состоянии ожидания неприятеля и подобные семантические ассоциации, вызываемые топонимической *поле*, кажутся вполне естественными и логичными. Если у территории действительно было и второе равнозначное название – *Половецкое* – то его можно рассматривать как название-уточнение, как название, отразившее конкретное историческое событие, произошедшее в период его функционирования.

Позднее, по мере освоения и заселения ранее пустующих земель границы *Дикого Поля* постепенно сужались. Соответственно изменялись и семантика топонимического сочетания, и его статус. *Диким полем* назывались уже не столько окраинные земли, сколько земли необработанные, целинные. Такие территории находились между районами, достаточно хорошо освоенными, чередовались с ними. В этом значении сочетание *дикое поле* часто упоминается в писцовых книгах XVI века: “В той же деревне жеребей за козачим отаманом за Беляком за Денисовым сыном Ломовским, да жеребей в д. Стрелчково, да треть в пустоши на диком поле...” (Писцовые книги Рязанского края XVI в. Под ред. В.Н. Сторожева. Рязань, Репринтное издание 1990. Т. I. Вып. 1); “...дано им дикого поля под Макарьвым липягом по конец Поплевинских поль”; “И на то их дикое поле дано лготы на 6 лет”; “В той же д. Чиркине Поляне, Уланова тож, за Гришею Ивановым сыном Бородою дикова поля в селище в Петелине” (Там же) и т.д. Сочетание не воспринималось уже как собственное имя, как имя конкретного объекта, а использовалось, скорее, как простой географический термин.

Еще одно название Рязанской “украины” – *Рясское Поле* – сообщает нам Послание Ивана III рязанской княгине Агриппине, датированное 1502 годом. В нем описывается путь, которым надлежало ехать одному турецкому послу: “...От Старой Рязани ехать ему Пронею, а из Прони Прановой, а из Прановой Хуптою, вверх до Переволоки до Рясского поля... да Переволокою Рясским полем до реки до Рясы...” (Иловайский Д.И. История Рязанского княжества. Рязань, Репринтное издание, 1990). Это был маршрут популярного в то время водного пути, связывавшего центральные русские земли с прикаспийско-причерноморскими территориями. Он проходил через Оку и Дон. На юге Рязанского княжества находился кратчайший водораздел между этими реками. Пространство между крайним притоком Оки – рекой Хуптой – и крайним притоком Дона – рекой Рясой – и называлось *Рясским Полем*. По нему путешественники перетаскивали суда до реки Рясы, чтобы затем по Воронежу и Дону добраться до Черного и Каспийского морей. Этот водный путь был известен с древнейших времен. В грамоте Ивана III

называются его важнейшие ориентиры и среди них есть интересующее нас название.

Возникновение топонима могло быть связано с началом функционирования описанного водного пути (предположительно это VIII–X вв.). С XIII века в связи с возросшей со стороны степи опасностью направления торговых путей изменились. Историк Д.И. Иловайский полагал, что путь, проходивший через Рясское поле, в эпоху татаро-монгольского нашествия был опасным и практически не использовался вплоть до XVI века (Иловайский. Указ. соч.).

Характер топонимического сочетания *Рясское Поле*, семантика составляющих его частей, и прежде всего первого компонента имени, определения *поля* – *Рясское*, могут быть осмыслены двояко. С одной стороны, название может быть этимологически связано с донским гидронимом *Ряса*, или *Становая Ряса* (отметим, что близкие названия носят и притоки этой реки: *Московская Ряса*, *Ягодная Ряса*, *Гуцина Ряса*, *Раковая Ряса*, *Говейная Ряса*). В этом случае по происхождению топоним может считаться вторичным – отгидронимным образованием.

С другой стороны, компонент *Рясское* мог быть связан и непосредственно со словом *ряса*, которое в местной географической терминологии имеет значение “болотистая местность”, “топкое, мокрое место”. Аргументом в пользу этой версии может служить наличие, и даже более того, чрезвычайная активность на территории Окско-Донского водораздела, близких по семантике названий: овраг *Паникое*, река и ручей *Паника*, село *Паники* (от *паника*, *паникое* “ручей или река, местами теряющие свое течение и переходящие в заболоченный участок”); река *Гать*, лоск (овраг) *Большие Гатки* (от *гать* “постоянно заболоченное место”); река *Калина*, озеро *Калинка*, река *Калинина* (от *калина* “грязь, размякшая земля”), более полусотни *Ржавцев* (от *ржавец* “речка или болото с застойной и ржавой, бурой, водой”) и т.д. Известны названия, восходящие и к слову *ряса*: лоск *Рясы*, деревня *Рясы*, возможно, город *Ряской* (современный *Ряжск* Рязанской области).

Многочисленность данной лексико-семантической группы топонимов в междуречье Оки и Дона – вполне закономерное и научно объяснимое явление: как известно, на водоразделах реки не имеют нормального стока, вода в них часто, особенно в летнее время, застаивается, в результате чего образуется множество заболоченных водных объектов (ржавцев, гатей, паников и др.). На этом фоне название *Рясское Поле* может быть рассмотрено как простой квалификативный топоним: содержащееся в нем определение *ряское* изначально указывало на качество поля, на то, что этот участок топкий, болотистый – указание немаловажное для перевалочных (волоковых) участков. Семантика же самого термина *поле*, по всей видимости, аккумулялировала в себе традиционные для средневековья ассоциативные признаки: “простор”, “окраина”, “южные пограничные земли”.

Постепенно, начиная уже с XII века, у слова *поле* развивается еще одно значение – “ровное безлесное пространство, используемое в сельскохозяйственных целях”. В этом – бытовом значении существительное достаточно активно проявляет себя в топонимии более позднего стратиграфического пласта, а именно в XVI–XVII веках.

В рязанских писцовых книгах этого времени подобные топонимические примеры многочисленны: *Бобровские поля*, *Столповские поля*, *Поплевинские поля*, *Пехлецкие поля*, *Карабынское поле* и т.д. Первый компонент имени носит либо патронимический, либо оттопонимный характер.

Особенностью участия термина *поле* в позднесредневековых топонимических процессах является то, что теперь он используется преимущественно в микротопонимии. И связано это с тем, что в XVI–XVII веках земли, в частности рязанские, “украинные”, активно осваиваются. Границы именуемых объектов постепенно сужаются, и в ряде случаев – до границ микрообъектов. Некоторые названия прежде неосвоенных или малоосвоенных территорий трансформируются в микротопонимы (см. Историю сочетания *дикое поле*). Сужается и семантика входящего в состав наименований термина: теперь *поле* – это “обрабатываемый для посева участок земли”.

В приведенных русских загадках мы наблюдаем интересный симбиоз двух значений: старого (“широкого”) и развившегося параллельно нового (“узкого”). При создании аллегоричного образа *поле* используется в старом, “былинном”, значении (“окраинные земли”, “южные степи”, “поле брани”): *На поле на арекском, на рубеже татарском...; На поле нагайском, на рубеже на татарском...* Отгадка же носит бытовой и вполне “мирный” смысл: на самом деле это простое *крестьянское поле*, на котором растут *репейник* (дерево ливанское, листья митрофановские), *рожь* (столбы точёные, головы волочёные) или стоят *снопы* (люди побиты, у них головы обриты).

Рязань

Топонимика

Путь “из варяг в греки”
в топонимии Смоленского края

О.Н. БОЙЦОВ

Как известно, Смоленский край принадлежит к числу древнейших обитаемых земель, которые были заселены племенами кривичей, предками нынешних смолян, живших в верховьях Днепра, Западной Двины и Волги. Существование таких трех мощных артерий, какими являются эти реки, послужило серьезным фактором для появления здесь в прошлом торговых путей, через которые проходили связи с другими государствами. Смоленские кривичи плавали и “в булгары”, и “в немцы”.

Особую известность Смоленщине принес знаменитый торговый путь “из варяг в греки”, который сложился к IX веку. Упоминание о нем встречается в “Повести временных лет”: “...бе путь из Варяг в Греки и из Грек по Днепру и верх Днепра волок до Ловати, и по Ловоти внити в Илмер озеро великое, из него же озера потечеть Волхов и вьтечеть в озеро великое Нево, и того озера выидеть устье в море Варяжское...” (Лаврентьевская летопись // по книге: Голубовский П.В. История Смоленской земли до начала XV века. Киев, 1895). Особое же значение путь получил в период византийской торговли XI–XII веков (Бернштейн-Коган С.В. Путь из варяг в греки // Вопросы географии. 1950. Сб. 20).

Этот торговый маршрут представлял собой исторически определенную древнерусскую систему речных путей и волоков, связывавшую через огромные расстояния земли восточных славян с Балтийским и Черным морями, а также с Каспием. При этом, вероятно, был путь, непосредственно пролежавший через Смоленск, – по Западной Двине, ее притоку Каспле, а затем волоком в Днепр и вниз к Черному морю.

Интересные сведения дают исторические и современные топографические карты, а также документы, в которых так или иначе находит отражение этот путь. Наиболее важными свидетельствами существования на Смоленской земле пути “из варяг в греки” можно считать такие названия населенных пунктов, в которых встречается корень *-волок-*.

Слово *волок* имело в древнерусском (и старорусском) языке несколько значений. Это либо пространство земли, водораздел между двумя судоходными реками и путь, по которому перетаскивали суда, грузы; либо место скопления грузов и товаров для перевозки по волоку; поселение на волоке (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1976. Вып. 3; далее – СлРЯ XI–XVII вв.).

Этот корень встречается во многих названиях Смоленской области: деревни *Волоковая* (Смоленский район), село *Волочек* (бывшее село Дорогобужского района), деревня *Волочня* (Кардымовский район), деревня *Переволочье* (Руднянский район). К сожалению, должны отметить, что это лишь небольшая, сохранившаяся часть топонимов: многие названия сел и деревень с корнем *-волок-* в разные годы были заменены.

Привлек наше внимание топоним *Волочек*. Памятники смоленской письменности XVI века позволяют восстановить исходный апеллятив, от которого произошло это название. Словом *волочек* называлось пространство земли, водораздел между двумя судоходными реками. Так, в одном из смоленских памятников XVII века зафиксировано слово *волочек* как уменьшительное от *волок* с уже указанным значением: “На волочке ж за рекою Высотой церковь” (XVII в. Региональный исторический словарь второй половины XVI–XVII вв. По памятникам письмен-

ности Смоленского края / Отв. редактор Е.Н. Борисова. Смоленск, 2000; далее – РИСл). С таким же значением, но еще раньше – в конце XV века – слово *волочек* отмечено в одном из севернорусских памятников письменности (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 3).

Происхождение топонима *Переволочье* также связано со словом *волок*, но образовано оно, вероятно, от его синонима *перволока* – “пространство между реками, через которое перетаскивают суда для дальнейшего плавания или перевозят товары сухим путем”. Оно зафиксировано в одном из смоленских памятников письменности XVII века: “Елины реки униз по луцкой дороге по правую сторону от переволока” (1655–1675 гг. РИСл). Название деревни *Волоковая* связано со словом *волоковой* (путь).

Возникновение этой группы топонимов восходит, несомненно, к тем древним временам, когда было развито на территории Смоленского края волоковое движение. А оно, как способ перемещения судов и грузов между судоходными реками или, просто, по труднопроходимым местам, было достаточно популярным в прошлом.

Убедительным свидетельством существования волоков на территории Смоленского края является ценнейший документ 1229 года “Торговый договор Смоленска с Ригой и Готским берегом”, названный впоследствии учеными “Смоленской правдой” (по аналогии с “Русской правдой”). В этой грамоте определяется порядок и очередь прохождения судов, в большом количестве скапливавшихся на смоленских волоках. Ко времени составления грамоты слово *волок* широко употреблялось на Смоленской земле, о чем свидетельствуют отмеченные в этих документах производные от *волок*. Особую ценность представляет слово *волочанин*, не засвидетельствованное ни в одном из других источников: “Которыи вълъчанин вълъчь латиньскыи товар черес вълък вестя а что погынет от того товара что ему приказано платити всем вълъчаньм”.

Е.Н. Борисова дает такое толкование слова *волочанин*: “человек, живущий на волоке, занятый перевозкой волоком товаров”. Позже по этой профессии ее носитель получил и фамилию *Волочанин*, зафиксированную в смоленских грамотах начала XVII века (Борисова Е.Н. Некоторые соображения о связи антропонимики с региональной исторической лексикологией и лексикографией // Проблемы ономастической и терминологической лексики: теоретический и прикладной аспекты. Смоленск, 1997).

Интересен и сам апеллатив *волок*. В XVIII веке семантика этого слова обогащается за счет других значений. Так, Словарь русского языка XVIII в. (Л., 1988. Вып. 4), кроме указанных в СлРЯ XI–XVII вв. значений, фиксирует как новые оттенки (1. Лесная гужева дорога; 2. Порог на реке, который обходят, перетаскивая суда волоком), так и новые значения (устройство для перевозки грузов волоком; примитивная по-

возка, волокуша). Возникло и наречие *волоком* “таща по земле” (Там же).

Представляет интерес и географическое название с корнем *-кат-* – деревня *Катынь* (Смоленский район). Расположенная на реке Днепр, деревня *Катынь*, вероятно, имеет отношение к смоленскому отрезку пути “из варяг в греки”. При беглом анализе этого топонима можно предположить, что он происходит от глаголов *катати* – “перемещать с места на место в разных направлениях округлый предмет, катать”, *катити* – “перемещать с места на место в одном направлении какой-либо округлый предмет или предмет, поставленный на колеса, катить”. Однако время фиксации этих слов в русском языке не позволяет поддержать эту гипотезу.

Дело в том, что глаголы *катати*, *катити* не засвидетельствованы в древнерусском языке. Их первое упоминание в памятниках письменности по СлРЯ XI–XVII вв. относится к XVII веку. Вероятнее всего, топоним *Катынь* имеет в качестве исходного апеллятива слово *кат* со значением “становище, стан, лагерь”, возможно сходство и со словом *катун* с тем же значением (зафиксировано в XV веке. СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 7). Перемещение по суше судов или грузов и возникновение станов, а впоследствии и поселений в этих местах, вероятно, было характерно для торгового пути “из варяг в греки”.

Интересен также и топоним *Лодейницы*, отмеченный на исторической карте “Смоленское княжество XII–XIV вв.” (в книге: Алексеев Л.В. Смоленская земля в IX–XIII веках. М., 1980) между рекой Кащелей и притоком Днепра речкой Катынкой, который, вероятно, происходит от слова *лодейница* со значением “место стоянки небольших судов, ладей” (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 8). В настоящее время в топонимии края отмечается его современный вариант – *Ладьжицы*.

Рассмотренные топонимы являются, на наш взгляд, еще одним свидетельством существования древнего торгового пути “из варяг в греки” на территории Смоленского края, являясь существенным дополнением к данным исследований историков и географов.

Смоленск



ДУБИНА СТОЕРОСОВАЯ

Л.Е. КРУГЛИКОВА,

доктор филологических наук

Глупого, бестолкового человека часто называют *дубиной стоеросовой*: “Матросы отзываются о нем по-разному. Не поймешь его... Не то больно умен, не то пустая голова. Он только с виду дубина стоеросовая, а черепок у него работает на тридцать узлов” (Новиков-Прибой. Одобренная крамола); “Я на тебя, негодяй, десять рублей штрафа запишу! – орал мастер, топая ногами... Ты для чего тут приставлен, дубина стоеросовая?” (Вересаев. Ванька); “Изредка вспоминал я всю эту историю, как белугой ревел... – Вот дурак, дубина стоеросовая” (Чириков. Сон сладостный); “Когда Макар всерьез приударил за девушкой, Семен не взъерепенился, молча отступил, игриво и легко переключился на Анфису. А Макар, дубина стоеросовая, сколько лет мучился темной ревностью, никогда не выговариваясь вслух” (А. Виноградов. Бутафорья); “Лукашин был страшно зол. Хозяйка (...) разбудила в восьмом часу. Пожалела. Эка дубина стоеросовая!” (Ф. Абрамов. Братья и сестры).

Впервые лексема *стоеросовый* зафиксирована в “Толковом словаре живого великорусского языка” В.И. Даля: “Из какого дерева это сделано? – А кто его знает, должно быть, стоеросовое”. Она дается с пометой *шуточное* и определяется как “растущий стойком”. В словаре М.И. Михельсона “Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний” (СПб., 1902–1903) также говорится о том, что прилагательное *стоеросовый* служило как бы шуточным названием дерева, истинное название которого неизвестно. Ни в том, ни в другом словаре нет ни слова об интересующем нас фразеологизме. Это, а также примеры употребления могут свидетельствовать о том, что идиома *дубина стоеросовая* появилась в конце XIX века.

По поводу происхождения данного оборота существуют разные мнения. Ряд ученых считает, что фразеологизм *дубина стоеросовая* возник на базе переносного значения слова *дубина* “бестолковый, тупой человек” путем присоединения к нему прилагательного *стоеросовая* для усиления экспрессивности – как указание на человека, который

в отличие от палки большую часть времени проводит в вертикальном положении, т.е. “растет стоя” (См., например, Мокиенко В.М. Славянская фразеология. 2-е изд., испр. и доп. М., 1989). К тому же прилагательное *стоеросовый* присоединяется и к другим словам, служащим для характеристики глупого человека: “Все встревоженно останавливаются. Даже Митрий Степаныч застывает на месте и негодует: – Дураки стоеросовые! Ума не хватило, чтоб догадаться: ведь сторонские обманом хотели взять (Гладков. Повесть о детстве); “Повариха – такая дура стоеросовая попалась – все делает не так!” (Л. Ленч. Черные погоны); “Пьеро запустил руки в карманы и продолжал иронически: – Дубина ты, дубина, балда ты стоеросовая!” (Скиталец. Миньона); “– О, жуткий глупец! Непроходимый болван! Пень стоеросовый с глазами!” (Бондарев. Игра).

Заметим, что Ю. Бондарев очень любит создавать индивидуально-авторские обороты с прилагательным *стоеросовый*: *балбешка стоеросовая* (у Даля *балбешка* – “чурбашек, чурка, болвашек; || об. дурак”); *дручки стоеросовые* (*дручок* в диалектах имеет значение “палка, жердь, кол, дубина”); *зяблик стоеросовый*.

Мы нашли также два примера субстантивации прилагательного *стоеросовый*: “В груди щемило, под глазами залегла синева, сердце дергалось и будило по ночам: – Эй, стоеросовый, спишь?” (Ляшко. Минучая смерть); “– Вот чудится мне всякий раз барская небрежка такая к серому человеку: куда ты, мол, стоеросовый, лезешь учиться” (Лавренев. Разлом). Прилагательное *стоеросовый* может присоединяться и к словам, характеризующим человека по другим его качествам: “– Отец-то опять без дела? – Таперь без дела. – Таперь! – передразнил Тихон Ильич. – Деревня стоеросовая” (Бунин. Деревня); “[Годун:] (зло). Боюсь я всегда этого. Сызмальства боюсь. Чудится мне всякий раз барская небрежка к серому человеку. Куда ты, мол, скотина стоеросовая, выше себя лезешь” (Лавренев. Разлом. В различных редакциях этой пьесы встречаются неидентичные образования с лексемой *стоеросовый*. Кроме указанных, употребляется и выражение *дубина стоеросовая*).

В Большой словарной картотеке (СПб. Институт лингвистических исследований РАН – далее БСК) имеется пример индивидуально-авторского использования прилагательного *стоеросовый* для характеристики не только не-человека, но и вообще неживой природы: “В его переводах нет-нет проскользнет какое-то подобие живой интонации, какой-то не совсем раздребезженный эпитет. (...) После стоеросовых, шершавых стихов вдруг послышится чистый, мелодический голос” (К. Чуковский. Высокое искусство). В данном случае наблюдается как бы дальнейшее развитие значения прилагательного *стоеросовый*, наделение его новым смыслом “неумелый, нескладно составленный, вырванный”, т.е. отрицательная оценка, заключенная в слове *стоеросовый*, наполняется конкретным содержанием.

В то же время можно выдвинуть и гипотезу о том, что слово *дубина* в метафорическом значении и фразеологизм *дубина стоеросовая* появились независимо друг от друга в результате переосмысления соответственно слова и переменного сочетания слов. Дело в том, что первоначально *дубина*, по всей видимости, служила наименованием дерева и суффикс *-ин(а)* имел в ней значение единичности (ср. *березина*), ибо, во-первых, слово *дуб* в XII–XVI веках могло обозначать не только дуб, но и просто дерево без указания на его вид. *Дубие* в XIV–XVII веках зафиксировано в качестве собирательного по отношению к *дуб* “дерево” и “дуб”.

Во-вторых, в родственных языках (украинском, чешском, польском, верхнелужицком) существительное *дубина* имеет значение “дубовая роща”, а в украинском еще и “дуб”, т.е. опять же обозначает растение, а не просто палку. В-третьих, производное *дубина от дуб* служит наименованием палки, т.е. ветви или тонкого ствола дерева (любого, а не только дуба!), срезанных и очищенных от побегов. В-четвертых, в говорах Приамурья существительное *дубина* широко употребляется в значениях “дуб” и “большое высокое дерево”, что объясняет появление у слова *дубина* еще одного переносного значения – “высокорослый человек”, известного, по данным словарей, с XVIII века.

В Картотеке “Словаря русских народных говоров” (СПб., Ин-т лингвистических исследований РАН – далее Картотека СРНГ) зафиксировано сравнение *стоит, как дуб стоеросовый* (Ругают). Он в защиту себя ничего не говорит, а *стоит, как дуб стоеросовый*. Волог. 1896–1920), в Словаре Даля есть сравнение *стоит, как дубина*, возникшее на базе “растительного” значения слов *дерево, дубина*.

И.Г. Добродомов, отвечая в журнале “Русская речь” на вопрос читателя о происхождении выражения *дубина стоеросовая*, высказывает предположение о первоначальном возникновении оборота в речи семинаристов. В частности он пишет: “Трудно предположить, что сравнительно поздняя форма *рос*, изолированная употреблением только в прошедшем времени, могла лечь в основу сложного слова *стоеросовый*. Необычность словообразовательной стороны и ярко выраженный шутивно-эмоциональный характер прилагательного *стоеросовый* делают весьма вероятным предположение о его семинарском происхождении” (Русская речь. 1968. № 5). В этой же заметке говорится о том, что Ж.Ж. Варбот, также склоняясь к семинарскому происхождению данного фразеологизма, отмечает, что прилагательное *стоеросовый* «возникло как переделка греческого (...) “кол, шест, свая” в сочетании двух однозначных слов *дубина*, (...) которое превратилось в речи семинаристов в *дубина стоеросовая*. В таком случае, первое этимологическое объяснение (*стой-э-рос-ов-ый*) можно будет считать результатом позднейшего народно-этимологического объяснения» (Там же).

Позволим себе усомниться в семинарском происхождении фразео-

логизма *дубина стоеросовая*. Во-первых, первоначально прилагательное *стоеросовый* употреблялось все же применительно к деревьям, а не к людям. Имеется также существительное *стоерос*, которое употребляется как в прямом, так и в переносном значении. Так, в “Пословицах русского народа” В.И. Даля читаем: “Из стоероса лежни кладут. Стоячее дерево на погон идет”. В данном случае речь идет о том, что брус, закладываемый под основание стен, – из стоероса, т.е. стоеросового дерева.

В переносном значении “глупый, бестолковый человек” существительное *стоерос* известно говорам Сибири. По-видимому, из диалектов оно пришло в этом значении в литературный язык. Первая фиксация его в БСК относится к 30-м годам XX века. Из журнала “Крокодил” (1931 г.) была сделана следующая выписка: “Эх, этими бы оглоблями да по тем стоеросам, которые сидят в правлении”. Это слово встречается и в художественной литературе: “Понимаешь, стоерос ты этакий!” (Дьякова. Сонечкина карьера); “Некоторое время они идут молча. Вдруг Гуляш спрашивает: – А что, эти братья Каплины совсем стоеросы или соображают чего? Филипп даже приостановился. – Зачем тебе их ум?” (Горбунов. Ледолом). В повести В. Гроссмана “Жизнь и судьба” *стоерос* наделяется иным, индивидуально-авторским значением: “Нерешительным и сомневающимся людям обязаны и великими открытиями, и великими книгами, сделали они не меньше, чем прямолинейные стоеросы”. В данном случае под стоеросами понимаются ни в чем не сомневающиеся, убежденные в своей правоте, твердо отстаивающие свою позицию люди. Нам встретился один пример с суффиксом единичности *-ин(а)*, присоединяемым к существительному *стоерос*: “– Ты, Андрейч, не сердчай <...> Но Афонин входил в раж. – Я тебе покажу ругаться-то! Стоеросина!” (Бабик. На черной полосе).

У прилагательного *стоеросовый* встречается вариант *стоеростовый*, причем он фиксируется раньше. По данным Картотеки СРНГ, в 40-е годы XIX века в Нижегородской губернии было записано следующее: “Рассказывают, что еще когда-то спорили об одном дереве: один называл его березовым, а другой – стоеростовым и доказал свое мнение”. Там же находим записанную во Владимирской губернии шутку: “– Палочка какая? – Стоеростовая”.

По всей вероятности, слово *стоеростовый* (*стоеросовый*) могло служить характеристикой не просто растущего стоймя, ибо все деревья так растут (именно этим, видимо, можно объяснить восприятие сочетания *стоеросовое дерево* как шуточного наименования дерева в словарях В.И. Даля и М.И. Михельсона), а высокого, растущего вверх (а не раскидистого) многолетнего дерева.

Известно, что ствол дерева в зависимости от места его произрастания выглядит по-разному. В густом лесу деревья имеют обычно более прямой ствол, иногда чрезвычайно высокий и на значительную высоту

от земли свободный от сучьев. А у деревьев, растущих на просторе, ствол низкий, разрастающийся в толщину и сильно сучковатый. Древесина деревьев первого типа более ценна для столярных работ: “Из какого дерева это сделано? – А кто его знает, должно быть, стоеросовое” (Даль. Т. IV). О произрастании стоеросовых сосен в дремучем лесу идет речь в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина “Орел-меценат” и у В.И. Даля в “Сказке о Иване Молодом Сержанте, Удалой Голове, без роду, без племени, спроста без прозвища”. Так, в первой сказке читаем: “Пел он [соловей] искони так сладко, что не только сосны стоеросовые, но и московские гостинодворцы, слушая его, умилялись. Весь мир его любил, весь мир, притаив дыхание, заслушивался, как он, забравшись в *древесную чащу* [здесь и далее курсив наш. – Л.К.], сладкими песнями захлебывался”. Во второй сказке, когда Иван Молодой Сержант, закручинившись после невыполнимых царских приказов, приходит домой, его супруга прекрасная Катерина укладывает его спать и прибаюкивает песенкой:

За лесами, за горами горы да леса,
 А за теми за лесами лес да гора –
 А за тою за горою горы да леса,
 А за теми за лесами трын да трава;
 Там луга *заповедным диким лесом* поросли,
 И древа в том лесу стоеросовые,
 На них шишки простые, не кокосовые!

Эту колыбельную песенку своей супруги вспомнил Иван, когда царь дал ему третье задание: “Собирайся служить ты службу тяжкую; иди ты туда, неведомо куда, ищи того, неведомо чего; разойдись один по семи перекресткам, с семи перекрестков по семи дорогам столбовым; за горою лес, а за лесом гора, а за тою горою лес, а за тем лесом опять гора. (...) Придешь ты в тридесятое государство, что за тридевять земель, в *заповедную роццу*; в *роцце заповедной* стоит терем золоченый...”. Иван отправляется в путь и через много дней и ночей “зашел в *бор дремучий и непроходимый*, такой, что света божьего невзвидел, пень на пне [здесь *пень* имеет сохранившееся в диалектах значение “дерево”. – Л.К.], то лбом, то затылком притыкается”. И далее: “выходит из *лесу соснового дремучего*”.

Как видим, и в том и в другом случае речь идет о дремучем лесе, т.е. густом, высокорослом, старом, причем сосновом. Выбор именно сосны не случаен. Образ сосны характерен для мифологии многих стран. Так, в китайской и корейской мифологии сосна является одним из 10 символов вечной жизни наряду с солнцем, горой, водой, камнем, облаками, “травой бессмертия”, водяной черепахой, живущей до 10 тысяч лет, журавлем и оленем-маралом, живущим до тысячи лет. В греческой ми-

фологии венки из ветвей сосны является атрибутом греческого божества стад, лесов и полей Пана. По мнению авторов энциклопедического словаря “Славянская мифология”, сосна соотносится с мировым деревом (т.е. центром мира, воплощением мироздания в целом) в сказке, где Иван-дурак добыл “свинку золотую щетинку с двенадцатью поросятами и ветку с золотой сосны, что растет за тридевять земель, в тридесятом царстве, а ветки на ней серебряные, и на тех ветках сидят птицы райские, поют песни царские; да подле сосны стоят два колодца с живую водою и мертвую” (Славянская мифология. М., 1995).

Вероятно, первоначально варианты *стоеросовый* и *стоеростовый* не были тождественными по значению, т.к. форма прошедшего времени (-*рос-*) у первой лексемы и настоящего времени (-*рост-*) у второй влияла на характер семантики: *стоеросовый* “долго стоявший на корню”, *стоеростовый* “стоящий на корню”. В романе Д.Н. Мамина-Сибиряка “Золото” (1892 г.) сочетание *дерево стоеростовое* употреблено в переносном значении: “Вот у меня дерево стоеростовое растет, Окся; с руками бы и ногами отдал куда-нибудь на мясо, – да никто не берет”. Выбор варианта *стоеростовый*, на наш взгляд, обусловлен тем, что речь идет о растущем, не достигшем зрелости человеке. Если бы оборот был семинарского происхождения, то вряд ли Д.Н. Мамин-Сибиряк (выпускник духовной семинарии) употребил бы интересующее нас слово в такой форме. Аналогичное различие в семантике наблюдается у прилагательных *стоячий* – *стоялый*, первое из которых в древнерусском языке представляло собой полное действительное причастие настоящего времени, второе – полное причастие прошедшего времени на -л-. Прилагательное *стоячий* имеет значение “растущий, стоящий на корню”, например, *стоячий хлеб*, т.е. не сжатый хлеб.

Значение прилагательного *стоялый* – “давно, долго стоявший”, например, *стоялый конь*, *стоялая вода*, *стоялый мед*. В Архангельской губернии зафиксировано сочетание *стоялый хлеб*, в котором у прилагательного *стоялый* актуализируется значение “долго”: “У чужа чуженина [т.е. пришлого, не местного человека. – Л.К.] много хлеба стоялого, много денег лежалых”; “Хлеба-то стоялого да анбары иззасыпаны”. В этих примерах *стоялый хлеб* – это не хлебный злак, долго стоявший на корню (ср. *стоячий хлеб*), а зерно не нового урожая, долго хранившееся, залежавшееся. Отглагольное прилагательное *стоялый* может сочетаться и со словом *лес*: “Лес тут густой, стоялый, а тропка приметная” (Бажов. Сочневые камешки). О том, что смысл “старый” действительно имеется в значении прилагательного *стоеросовый* (*стоеростовый*), свидетельствует известное воронежским говорам сочетание *стоеросовый лес* “старый, переросший лес; плохой, коряжливый”. Прилагательное *стоерослый* найдено нами в БСК: “Дуб стоерослый до тысячи годов живет” (Федорченко. Народ на войне). Кроме того, у столяров

всякое старое, твердое поделочное дерево, которое темнее и под которое поддельвают светлое дерево, называется *стоерослым*.

Понятие “высокий” заключено в значении первой части сложного прилагательного *стоеросовый*. Косвенно оно реализуется у слова *стоячий* в фольклорной формуле *Выше лесу стоячего, ниже (выше) облака ходячего*, в поговорке *Из-за лесу стоячего не видеть лесу лежащего*. Оно есть и у такого зафиксированного в Словаре Даля слова с этимологическим корнем – *стой-*, как *стоячек* “узкая, высокая деревянная посуда с крышкой”. В БСК есть цитата, где имеется прямое указание на интересующее нас значение: “– Дерево стоерословое? (о величине)” – видимо, это запись разговорной речи. В Картотеке СРНГ имеется карточка, свидетельствующая о том, что в Калужской губернии в начале XX века прилагательное *стоеросовый* употреблялось по отношению к большому дубу, а также к красивой, сильной и большой лошади при наличии и фразеологизма *дубина стоеросовая*. В говорах прилагательное *стоеросовый* может служить для характеристики человека высокого роста, например, “Она девка стоеросовая. Зап. Брян. 1973. *Стояросовый* – рослый, большой. Дмитровск. у. Курской губ.” В диалектах оно также может характеризовать грубого, бесчувственного человека: “Муж у нее грубый, – ни старшим почтенья, ни о детях заботы – так, какая-то дубина стоеросовая”; “В работе сын силен, но промеж людей стоеросовый, – ни уваженья, ни сочувствия не понимает. Саратов. 1960–1961” (Карт. СРНГ).

Данные типы переносов вполне объяснимы такими признаками дуба, как значительная высота и твердость, а следовательно, невосприимчивость. В свете сказанного становится ясным и появление у оборота *дубина стоеросовая* переносного значения “глупый человек”. Вспомним целый ряд пословиц, в которых высокий рост ассоциируется с глупостью: *Велик, да дурак, а иной и маленок, да черт ли в нем; Велика Федора, да дура; Велик телом, да мал делом*.

Санкт-Петербург

За знакомой строкой



“Ямщик сидит на облучке...”

И.Г. ДОБРОДОМОВ,
доктор филологических наук

Слово *облучок* в “Евгении Онегине” А.С. Пушкина встречается всего один раз:

Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.

“Словарь языка Пушкина” дает ему определение: сиденье “для кучера в повозке” (М., 1959. Т. III), которое, по-видимому, восходит к отсылочному определению “Толкового словаря русского языка” под редакцией Д.Н. Ушакова: “**Облучок** (...) То же, что козлы в 1 значении” и дается из “Евгения Онегина”: *Ямщик сидит на облучке* (М., 1938. Т. II). Слово *козлы* здесь же трактуется так: “Передок экипажа, на к-ром сидит кучер” (М., 1935, Т. I). Большой авторитет этого словаря сказался на толковании слова в русской академической лексикографии, где закрепилось отождествление слов *облучок* и *козлы* или *передок* (См., например, Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1952): *облучок* “передок у телеги, саней, повозки; козлы” (Словарь русского языка в четырех томах. М., 1958, Т. II); *облучок* “передок повозки, на котором сидит кучер, возница” (Словарь современного русского литературного языка. М. – Л., 1959. Т. 8).

В 1962 году В.Я. Дерягин опубликовал в V выпуске “Лексикографического сборника” краткую заметку «“Облучок” и “Козлы”» (М., 1962), где он решительно выступил против ошибочного отождествления слов *облучок* и *козлы*, но оставил неисправленной ошибку в приложении сюда же слова *передок* “передняя часть телеги, саней”. Замечания В.Я. Дерягина о недопустимости смешения *облучка* и *козел* в

словарях были сочувственно встречены пушкинистами (Творогов О.В. Изучение языка и стиля Пушкина за последние годы // Временник Пушкинской комиссии. 1963. М. – Л., 1966), но комментаторы “Евгения Онегина” (В.В. Набоков, Ю.М. Лотман, Н.М. Шанский) не воспользовались ими.

Козлами называлось “специальное сиденье для кучера у повозок всех родов”, а *облучок* специальным сиденьем для кучера, возницы никогда не был.

Что *козлы* и *облучок* обозначали разные предметы, хорошо видно из их противопоставления у писателей. Например, знаток Москвы середины XIX века И.Т. Кокорев дает их в соединении сочинительным союзом *и*: “Кажется, все экипажи, какие только есть в Москве, все выехали бороздить улицу; все лошади, которые еще в силах таскать ноги, призваны к исполнению своей службы; все кучера с бородами и без бород засели на козлы и на облучки; все извозчики бросились выезжать заработки” (Кокорев И.Т. Мое почтение. Очерки и рассказы. М., 1858. Ч. III).

Что касается *облучка* (исходная форма *облук*), то он в старых словарях относился к части саней и лишь впоследствии был перенесен на телеги.

Действительно, как вышедший в конце XVIII века первым изданием “Словарь Академии Российской” (СПб., 1792. Ч. III), так и второе его издание – современник А.С. Пушкину “Словарь Академии Российской по азбучному порядку расположенный” (СПб., 1822, Ч. IV) определяют слово *облук* и его уменьшительную форму *облучок* следующим образом: “У саней называется выгнутая несколько деревина, бывающая во всю длину оных, связывающая с верху копылы, кои в нее утверждаются” и дают к нему иллюстративное речение *сидеть на облук*.

Это определение дословно повторяется в “Общем Церковно-Славяно-Российском словаре, или Собрании речений как отечественных, так и иностранных в Церковно-Славянском и Российском наречиях употребляемых...” П. (И.) С(околова) (СПб., 1834. Ч. II) и почти дословно в “Опыте терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта народного” В.П. Буриашева (СПб., 1844. Т. II): “У саней называется выгнутая несколько деревина, бывающая во всю длину их, связывающая с верху копылы, кои в нее утверждаются”.

Более краткое определение дает близкий к Пушкинской эпохе “Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым отделением импер. Академии наук” (СПб., 1847. Т. III): “Деревина у саней, связывающая копыла, в нее вставляемые” с иллюстративным речением: *Сидеть на облук*.

В дальнейших словарях *облук*, *облучок* объясняется и как часть колесных средств транспорта.

Младший современник и друг А.С. Пушкина В.И. Даль в своем

“Толковом словаре живого великорусского языка” объяснял *облук*, *облучок* как “грядки на телегах, повозках и санях, боковой край ящика, кузова” и дал иллюстративное речение с толкованием: “*Сидеть на облукѣ, на облучкѣ*, боком, свесив ноги” (М., 1956. Т. II).

Составленный под редакцией А.Н. Чудинова “Справочный словарь Орфографический, Этимологический и Толковый Русского Литературного языка” (СПб., 1901) четко противопоставляет: *козлы* – “сиденье для кучера в экипаже”, *облук*, *облучек* – “передняя часть, грядки на телегах, санях и др. экипажах” и *передок* – “передняя часть вместе с осью у экипажей, повозок и полевых орудий”, – хотя тенденция к сближению *облучка* с передней частью экипажа (*передком*) в определении уже проявляется здесь.

“Малый толковый словарь русского языка” П.Е. Стояна (2-е изд. Пг., 1915) был, по-видимому, последним русским толковым словарем, вышедшим до революции. В нем, к сожалению, не очень четко различались слова:

козлы – “сиденье кучера на передке экипажа”

облучок – “передний (?) край телеги, саней”

передок – “передняя часть повозки, тела животного, туши”.

Своеобразие езды *на облукѣ*, отмеченное В.И. Далем, подтверждается и писателями, жившими в начале XX века, например: “И неожиданно у самого дома зачмокали копыта и появились – Негр с мыльной мордой, Пахом – бочком на облукѣ санок...” (А.Н. Толстой. Детство Никиты).

Н.В. Гоголь весьма красочно обозначил место *облучка* в традиционном архаическом русском экипаже, в котором не было специально сиденья для кучера: “И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным охвачен винтом, а наскоро живьем, с одним топором и долотом, снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню – кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход!” (Мертвые души).

Удивительная простота русских телег поражала иностранцев, как это видно из романа Ж. Верна “Мишель Строгов” (1876): “Телега – это всего лишь обыкновенная открытая повозка на четырех колесах, в изготовлении которой применяется одно только дерево... Ничего более примитивного, ничего менее удобного, но вместе с тем и ничего более простого для починки, если какая-нибудь поломка случится в пути”.

Именно такая примитивная телега, где возница может сидеть только на *облучке*, фигурирует у А.С. Пушкина в философской “Телеге жизни” (1823):

Хоть тяжело подчас в ней бремя,
 Телега на ходу легка;
 Ямщик лихой, седое время,
 Везет, не слезет с облучка.

Примитивность и простота традиционных русских телег и саней не препятствует быстроте езды, указание на которую проходит через все черновые и беловые рукописи “Евгения Онегина”.

В черновых рукописях *облучок* сопрягается с сочетанием *летит кибитка*:

Бразды пушистые взрывая
 Летит кибитка почтовая
 В тулупе, в красном кушаке
 Слуга сидит на облучке.
 Ямщик веселый стоя правит
 И колокольчик удалой
 Гремит под новою дугой.

В беловых рукописях *облучок* ничем не заменяется:

Летит кибитка почтовая;
 Слуга стоит на облучке;

Ямщик поет на облучке;

Быстрота езды по зимней дороге упоминается и в 7 главе:

Зато зимы порой холодной
 Езда приятна и легка.
 Как стих без мысли в песне модной –
 Дорога зимняя гладка.
 Автомедоны наши бойки,
 Неутомимы наши тройки,
 И версты, теша праздный взор,
 В глазах мелькают как забор.

Ошибочное объяснение слова *облучок* сохранилось и в странном по исполнению однотомно-академическом “Большом толковом словаре русского языка” (СПб., 1998): “**Облучок**, -чка, м. Передок повозки, где сидит возница, кучер. *Сидеть на облучке. Вскочить на о. *Ямщик сидит на облучке, В тулупе в красном кушаке*”.

Ориентированные на академическую лексикографию малые словари устарелой лексики повторяют ошибки академических словарей. Например, “Словарь устаревших слов. По произведениям школьной программы” Н.Г. Ткаченко, И.В. Андреевой и Н.В. Баско (М., 1997) про-

сто воспроизводит определение “Словаря языка Пушкина”: “Сиденье для кучера в повозке” – вместе с четверостишием из “Евгения Онегина”.

Ошибочное отождествление *облучка* с *козлами* повторено и даже усилено и в других массовых словарях: Рогожникова Р.П., Карская Т.С. Школьный словарь устаревших слов русского языка. По произведениям русских писателей XVIII–XX вв. М., 1996; Глинкина Л.А. Иллюстрированный словарь забытых и трудных слов из произведений русской литературы XVIII–XIX веков. Оренбург, 1998. Здесь при словарных статьях *козлы* и *облучок* даны почти одинаковые рисунки козел, а не облучка.

Соображения В.Я. Дерягина были учтены при 21-м переиздании “Словаря русского языка” С.И. Ожегова (1989) его редактором академиком Н.Ю. Шведовой, а впоследствии и в словаре под названием “Толковый словарь русского языка” (М., 1992): *облучок* – “толстая деревянная скрепа, идущая по краям телеги, повозки или огибающая верхнюю часть саней”. В качестве примера все та же строка из “Евгения Онегина”: *Ямицик сидит на облучке*.

Авторитет академической лексикографии заставил автора интересной книги “Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века” (М., 1998) Ю.А. Федосюка сделать дезориентирующее утверждение: “Козлы иногда называли облучком”, – которое отражает лишь понимание слова *облучок* читателями XX века.

Доверие к академической лексикографии породило контаминированную эклектику, где соединяются неправильное толкование и точные сведения старинных словарей, как это сделано в “Российском историко-бытовом словаре” Л.В. Беловинского: “**Облучок**, спец. Сделанное спереди (*козлы*) место на конской повозке, где сидит кучер, либо просто край повозки” (М., 1999).

Отождествление *облучка* с *козлами* или *передком* в современных словарях является грубой ошибкой в истолковании вышедшего (вместе с реальией) из употребления слова, однако, встречающегося в старых текстах, которые понимаются неправильно не только рядовыми читателями, но и составителями словарей, что способствует распространению ошибки, проникшей частично и в академический “Словарь русских народных говоров” (Л., 1987. Вып. 22), однако считать слово *облучок* областным (диалектным) едва ли будет правильным.

За знакомой строкой



*“Бабковая” мазь, “бальзам” Кир Анишд
и “гаремские” капли*

*Е.В. КОВАЛЕВА,
кандидат филологических наук*

Хотя нас отделяет от Н.С. Лескова чуть более ста лет, мы уже просто не знаем тех реалий, которые были присущи XIX веку, и потому не понимаем специфики употребления некоторых слов и выражений. По этой причине, читая русских классиков, мы только приблизительно (и в первую очередь со своих позиций!) понимаем то, о чем повествуется.

В первом романе Н.С. Лескова “Некуда” (1864) один из главных героев – врач, поэтому эпизоды, в той или иной мере связанные с лечением, возникают на протяжении всего романа.

На страницах романа встречаются как народные, так и рекомендованные официальной медициной средства. Во второй книге романа один из персонажей, Дарья Афанасьевна пытается лечить дочкин животик *бабковой мазью*: “...У меня что-то маленькая куксится; натерла ей животик бабковою мазью, все не помогает, опять куксится. Вставайте, посмотрите ее, пожалуйста: может быть, лекарства какого-нибудь нужно”.

На первый взгляд кажется, что это мазь, которую Дарья Афанасьевна дала какая-нибудь бабка, тем более что в словаре В.И. Даля отмечено слово *бабковый* со значением “до бабки, в значении вещи, стойки, костыги и пр. относящийся”. Однако родились и сомнения, ибо в слова-

рях неоднократно встретилось выражение *бобковая мазь*, правда, без объяснения способа ее применения.

Описание *бобковой мази* как медицинского препарата есть в энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона и кажется гораздо более к контексту, чем мазь какой-то мифической бабки: “Бобковое или лавровое масло или мазь (*Oleum Lauri s. laurinum*) – получается посредством кипячения с водою и выжимания свежих плодов лавра. Б.м. зернисто, зеленого цвета, густо, как коровье масло, ароматного запаха. Б.м. есть чисто народное средство. Внутрь оно совсем не употребляется; его употребление ограничивается наружным употреблением в виде мазей, пластырей и т.д. Употребляется как средство для заживления пуповины, *при болях в животе (в детской практике)*” (СПб., 1891. Т. 7. Курсив наш. – Е.К.).

Однако предположение, что *бобковая мазь* – это на самом деле *бобковая мазь*, так и осталось бы предположением, если б не знание особенностей орфографии XIX века: в текстах не было редкостью в безударном положении увидеть *О* на месте *А* и наоборот. По этой причине на страницах романа мы читаем *волкомерия* вместо *волкамерия*, *охоботь* вместо *охоботье*. И именно данные факты позволяют утверждать, что *бобковая мазь*, встретившаяся в романе, есть не что иное, как *бобковая мазь*.

На страницах романа “Некуда” есть эпизоды, посвященные и “официальной” медицине. Правда, иногда она так тесно соприкасается с народной, что между ними трудно провести границу.

Доктор Розанов, герой романа “Некуда”, случайно попадает на именины к Кануниковым, людям “древлего благочестия”. Гостья Агафья Ивановна и хозяйка дома навезли скуку на Розанова надоедливым разговором о своих мнимых болезнях и о “прекрасных” лекарствах. Кажется, что на протяжении разговора возникают абсолютно нереальные названия лекарств: *иерусалимский бальзам*, “*бальзан*” *Кир Аниид*, “*гаремские*” *капли*, а Н.С. Лесков, выбирая такие наименования, просто подсмеивается над дамской манией самолечения.

Но если внимательно вчитаться в рецепт *иерусалимского бальзама*, который сейчас кажется полной абракадаброй, и сравнить его текст с описанием восточного бальзама в медицинской литературе XIX века, то невольно поразишься их общности, что видно даже неспециалисту в области медицины: “Сей балсам пользует салмово оному Стомахе помогает ему к варению укрепляет сердце утоляет запор чрева полезный противу утеснения персей и старого кашля. Исцеляет внутренняя раны персей и лехна то (то суть велия нитгаины) дипзоет и прогоняет месячных тови женски нанесонныя раны коликии стары толикие новыя например с ударениями меча или ножа и иные сечения употребляется с травом завомо лануонит исцеляет всякую фистулу и вся смрадния нужда киисти достигну должны чудно полезный есть и за текущую ухо капляючи у тодленаи три капли с гукно вином омойнойю полагаются и на ра-

нения зубные десны и иснедает ю утверждает и колсыушиися и испасти хотяща зубы сохраняет от умори т.е. куги и помогает от всех скорбей душевных и вкупе телесных, внутреннее ево употребление (...) до 15 капанума а вина или воды вечер и заутра кто его употребит и самиям искусством чудное богодействие разумети Будет” (Н. Лесков. Некуда).

“...предпочитается он [восточный бальзам] всем прочим в таких внутренних болезненных припадках, когда почки, мочевой пузырь и другие внутренности бывають поражены язвами. Сверх того он похваляется в долговременных перемежающихся лихорадках и против тяжелой одышки, исцеляет не только внутренние, но и внешние язвы и раны, гонит месячную кровь и мочу, производит испарину, пользует от бели, завалов, простуды, ломоты и боли в суставах и костях; наконец, по мнению некоторых, сопротивляется яду, гнилости, заразе и полезен от укушения ядовитой или бешеной скотиной. (...) Восточный бальзам употребляется внутрь от 10 до 20 гран на один прием: для этого смешивают его с различными другими веществами, напр., с разными тинктурами, эссенциями, или с яичным желтком, сахаром, похлебкою, сиропом или делают из него пилюли” (Горецкий В., Вильк. Русский народный лечебный травник и цветник. В 2 ч. М., 1892. Ч. 1).

Название бальзама в романе – *иерусалимский* – также обосновано: “Бальзам восточный есть многолетнее растение, самородно прозябающее на холмах в теплых странах, на земле каменистой и песчаной, особенно в счастливой Аравии и провинции Иемене, откуда перенесено в Египет и Иудею, и названо потом именами, заимствованными от тех стран (...) (balsamum Arabicum, Asiaticum, Aegyptiacum, Gileadense, Jerichonticum, Indicum, Judacum, Messae, Memphiticum, Orientale, Syriacum album)” (Горецкий. Там же).

И даже такой незначительный факт, что упоминаемый в романе *бальзам Кир Аниид* (который, если судить по его названию, также по происхождению с Востока) поддельный: “Только настоящего этого бальзана нет, а все поддельный делают”, имеет реальную основу: “В самом Константинополе не без труда достают настоящий бальзам, потому что последний и там случается редко. По свидетельству очевидцев, он бывает смешан с различными маслами, но и в этом смешении сохраняет свой природный запах. Такой фальсифицированный бальзам рассылается с востока во все европейские государства” (Горецкий. Там же).

И читая лесковские страницы, невольно поражаешься, с какой скрупулезностью автор подмечает мельчайшие детали и как точно подбирает слова.

На страницах “Некуда” встретились и *гаарлемские капли*. Интересно, что народом они называются *гааремские капли*: “– Нет, вот, говорят, гаремские капли на ночь хорошо принимать.

– Вам не годятся гаарлемские капли: вы полны очень”.

Спустя несколько лет в повести “Воительница” (1866) Н.С. Лесков

снова вспоминает о *гаарлемских каплях* и использует их опять-таки в сочетании с *гаремскими каплями* (при этом слово *гаарлемские* имеет несколько иную орфографию – в первом слоге наблюдается стяженное А): «Домна Платоновна очень любила прибегать к медицинским советам и в подробности описывать свои немощи, но лекарств не принимала и верила в одни только гарлемские капли, которые называла “гаремскими каплями” и пузыречек с которыми постоянно носила в правом кармане своего шелкового капота».

В собрании сочинений Н.С. Лескова 1956 года о *гаарлемских каплях* в примечаниях ничего не сказано. В издании 1993 года *гарлемские капли* поясняются только применительно к повести “Воительница”: “лекарство (от названия голландского города Гарлема)” (Ранчин А. Примечания // Лесков Н.С. Собрание сочинений. В 6 т. М., Экран. 1993. Т. 5). Вообще-то информацию, что *гарлемские (гаарлемские) капли* – это лекарство и что оно по происхождению, вероятно, из города Гарлема, можно получить, и не обращаясь к комментариям, а только прочитав текст повести “Воительница” или романа “Некуда”. На более серьезные вопросы “Почему эти капли пользовались такой популярностью?”, “С какой целью их принимали?” ответов в комментарии нет.

В отличие от названия *гофманские капли*, которое неоднократно фигурирует на страницах произведений Н. Лескова и которое считает необходимым истолковать практически любой современный словарь или справочник, словосочетание *гаарлемские капли* встретилось только в “Энциклопедическом лексиконе” (СПб. 1858. Т. 13): “Гарлемские капли, *Oleum Haarlemense*. Это лекарство, как название его показывает, изобретено в Гарлеме, в Голландии, в 1698 году, лаборантом Клаусом Тилли (*Claus Tilly*). Оно состоит из раствора очищенной серы в дистиллированном (перегнанном) мозжевелевом масле. Гарлемские капли Гродницкого, которые продаются у нас в России, существенно отличаются от настоящих Гарлемских капель тем, что в них сера распускается в льняном масле, и к смеси прибавляется самое малое количество анисового масла. Это лекарство – мочегонительное, и употребляется в болезнях мочевых путей. Прием его различный, но должен быть назначаем врачом смотря по свойству болезни”.

Дополнительные сведения об этих каплях удалось получить и в словарной статье данного же лексикона, посвященной городу Гаарлему или Гарлему (*Haerlem, Haarlem*): “Старинный дом Тилли, изобретателя Гарлемских капель (см. это) и теперь еще пользуется своею привилегией: наследники его отправляют капли свои на значительные суммы, не только в разные места Европы, но и во все Голландские колонии. Ост-Индийские моряки называют эти капли дорожною аптекою путешественного Голландца”.

Надеюсь, что данные заметки помогут по-новому взглянуть на тексты такого близкого и такого далекого XIX века.



СЛОВАРЬ ОБИХОДНОГО РУССКОГО ЯЗЫКА МОСКОВСКОЙ РУСИ (XVI–XVII вв.)

Русская разговорная речь наших дней возникла не вдруг и не на пустом месте. Ей предшествовала длительная, сложная история, в ходе которой менялось соотношение между книжной и обиходной речью, происходили перегруппировка, отбор и переоценка речевых единиц, смена их стилистических свойств, различные лексико-семантические сдвиги и другие преобразования. Позволительно надеяться, что рано или поздно эти процессы станут предметом еще не существующей лингвистической дисциплины “История русской разговорной речи”. Пока же надо приступить к напряженному, кропотливому труду – сбору, систематизации и толкованию лексических и фразеологических средств, которые стали почвой для становления русской разговорной речи.

Эту задачу около полувека назад поставил выдающийся отечественный языковед Б.А. Ларин. В 1959 г. он предложил проект “Словаря обиходного русского языка Московской Руси (XVI–XVII вв.)” (далее – “Словарь ОРЯ”) для осуществления его силами сотрудников Межкафедрального словарного кабинета на филологическом факультете Ленинградского государственного университета.

Рецензируемый словарь-проект (Под ред. О.С. Мжельской. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2000) – развитие замысла Б.А. Ларина с учетом тех изменений, которые произошли в теории и практике исторической лексикографии. В Проекте учтен богатый опыт, накопленный учениками и последователями Б.А. Ларина в ходе составления “Псковского областного словаря с историческими данными”, «Словаря-справочника “Слова о полку Игореве”», “Словаря древнерусского языка XI–XIV вв.” и мн. др.

При выборе объекта описания авторы Проекта исходили из следующего определения обиходного языка, предложенного Б.А. Лариным: “Обиходный язык... – это язык устного общения и частных деловых документов, лишенных политического, общегосударственного значения” (с. 5). Назвать безупречной приведенную дефиницию нельзя хотя бы потому, что в ней за данность принимается устная речь минувших

веков, которая в своем подлинном звучании навсегда останется для нас недостижимой и о свойствах которой мы можем судить лишь предположительно, по ее преобразованному (и порой искривленному) отражению в памятниках письменности. Можно поспорить и о том, в какой мере понятие обиходности покрывает язык частных деловых документов, который при всей их приватности наверняка содержал устойчивые, трафаретно-книжные компоненты, характерные для текстов политического, общегосударственного профиля.

Эти и другие изъяны цитированного определения всё же, по нашему разумению, не служат непреодолимым препятствием для того, чтобы избрать его в качестве отправного в Словаре ОРЯ: синкретизм входящих в определение понятий так или иначе отражает не вполне отчетливую отграниченность обиходной речи от других слоев русского национального языка Московской Руси XVI–XVII вв. Это и подсказывает логика исторического развития разговорной речи, и отражают пробные статьи Словаря ОРЯ (с. 23–55), ср., в частности, такие слова, как *бдение*, *весть*, *бережение*, которые, как представляется, могли наравне употребляться и в книжной, и в обиходной речи указанного периода.

Источником Словаря ОРЯ служат более 120 памятников: официально-деловые документы, частно-деловые бумаги, семейная и дружеская переписка, русские повести XVI–XVII вв., русская демократическая сатира, записи былин и исторических песен того же времени, сборники пословиц XVII в., записи русской речи иностранцами в разговорниках и словарях XVI–XVII вв. Эти памятники были полностью расписаны авторами Словаря ОРЯ, в результате чего создана картотека, охватывающая более 400 000 карточек. Выборка слов и оборотов из источников продолжается и по сей день.

Авторы Проекта решили оставить в стороне памятники XVI–XVII вв., созданные в Пскове, поскольку они отражены в “Псковском областном словаре с историческими данными” (с. 11). Для сбережения авторских сил, времени и сокращения государственных расходов на издательскую деятельность такое решение вполне оправданно. Однако едва ли оно порадует взыскательного читателя, который, обзаведясь многотомным “Псковским областным словарем”, будет вынужден усиленно и вряд ли всегда удачно выискивать в нем статьи, дополняющие Словарь ОРЯ. Ясно, что и целостность материала, представленного в Словаре ОРЯ, от этого не выиграет.

Верным представляется решение авторов Проекта давать заголовочное слово в современном написании, без букв “ять” и “ер”: большинству современных читателей так понятнее и привычнее. Но поскольку Словарем ОРЯ будут пользоваться и специалисты-филологи, стоило бы после заголовочного слова в скобках давать его прежнее написание, если в нем были указанные буквы. Такие сведения пригодятся и студентам-филологам, постигающим историю русского языка.

В памятниках русской письменности не всегда отчетливо разграничены наречия и безличные предикативы (категория состояния, стати-вы). Однако там, где это разграничение бесспорно, следовало бы более явно отражать его в грамматических пометах Словаря ОРЯ, ср., напр., пробные словарные статьи *Беленько* (с. 35) и *Гладко* (с. 47).

Любой проект можно совершенствовать без конца. Мера этой работы определяют его авторы, которые вправе решить, какие из высказанных здесь пожеланий пойдут в дело. Но в том, что дело это весьма важное и похвальное, сомневаться не приходится. Выразим надежду на скорейшее осуществление замечательного проекта “Словаря русского обиходного языка Московской Руси (XVI–XVII вв.)”. Выход в свет этого словаря, бесспорно, станет отрадным явлением общественной жизни, послужит добрым примером для разработки истории русской разговорной речи.

Г.И. Тираспольский,
доктор филологических наук
Сыктывкар

Заимствования: опыт тевтонского соседа

Г.Ю. СКВОРЦОВ

Прошлое русского языка показывает, что он с честью выходил из затруднений, связанных с засорением иноязычными словами, даже выработал тут своеобразную политику: заимствований должно быть не так, чтобы мало, но и не так, чтобы чересчур много. Уменьшить эту чичиковскую пропорцию в сторону сильного сокращения числа заимствований затруднительно. Но к сожалению, сейчас мы далеки даже от такого умеренного состояния. Нынешний поток чужеземцев в родную речь можно сравнить разве что со шквалом из “ассамблей”, “коллегий”, “сатисфакций” и т.п., обрушившихся на наш дремавший дотоле язык при Петре. Так что впору было бы воскресить адмирала А.С. Шишкова, воевавшего с “европеизмами” при Пушкине.

Иноязычное слово как правило становится заимствованным в результате перевода его на русский язык методом калькирования, т.е. методом, который обычно применяется для передачи в русском языке имен собственных. Очевидно, что калькирование – наиболее легкий способ перевода, не требующий никаких творческих усилий. Переводчик в этом случае должен лишь передать произношение или написание иностранного слова средствами другого языка. Может быть, именно эта легкость и является причиной потока заимствований.

В век НТР большая доля таких заимствований попадает в общелитературное употребление и обиходно-разговорную речь из научно-технической терминологии. “Компьютер”, “монитор”, “дисплей” и др. давно уже перестали быть прерогативой научного стиля. Творческое отношение к поиску русских эквивалентов для иностранных научно-технических терминов во многом позволило бы уберечь наш язык от засорения извне. В той или иной степени внешним воздействиям подвержен всяк суший на планете язык, поэтому было бы весьма целесообразно обратиться здесь к опыту других языков. Так, к примеру, ценные для нашего языка выводы можно сделать из сравнения английских заимствований в немецкой и русской научно-технической терминологии.

Английский язык в настоящее время является основным языком научно-технической литературы, и его термины быстро вторгаются в

другие языки, в частности, русский и немецкий. Но характер этого вторжения в двух последних языках разный.

В немецком для половины заимствованных из английского терминов находятся свои немецкие синонимы. Калька с английского и “родной” термин сосуществуют, причем в научно-технической литературе предпочтение отдается немецкому слову. Примерами таких пар могут служить “Display” и “Sichtanzeige”, “Teletype” и “Fernschreiber”, “Blooming” и “Blockwalzwerk”, “Mixer” и “Mischer”, “Kombine” и “Mährescher” (Немецко-русский политехнический словарь. М., 1979).

В русском же языке заимствованный из английского термин в девяноста процентах случаев правит единовластно. Для приведенных выше калек “дисплей”, “телетайп”, “блюминг”, “миксер” и “комбайн” синонимов у нас нет. Если же синоним и имеется, то он в большинстве случаев неконкурентоспособен по сравнению с иноязычным пришельцем. Такие громоздкие сочетания, как “видеоконтрольное устройство”, “переходное устройство”, “дорожный просвет”, вряд ли выживут в борьбе с “монитором”, “адаптером”, “клиренсом” (Политехнический словарь. М., 1980). Ведь основное достоинство термина – краткость.

Этим достоинством обладают аббревиатуры, но они неохотно образуют производные слова, поэтому у “ЭВМ” и “РЛС” нет никаких шансов в борьбе с “компьютером” и “радаром”. Сопоставление показывает, что и в русском, и в немецком языках “родной” термин не всегда равнозначен своему англоязычному синониму. Как правило, английский конкретнее и имеет только одно устойчивое значение. Это относится к парам “Adapter” – “Zwischenstück”, “адаптер” – “переходное устройство”, “Mixer” – “Mischer”. Такая неравнозначность размывает термин и лишает его еще одного достоинства – точности.

Желательно в каждом подобном случае выставлять свой конкурентоспособный и краткий термин, с тем, чтобы иноязычный оставался в русском языке на вторых ролях. “Родной” термин, по возможности, не должен быть несклоняемой аббревиатурой и должен быть равнозначным синонимом заимствованного слова.

Думается, что на это следовало бы обратить внимание всем, кто напрямую работает с иноязычной научно-технической литературой: переводчикам, редакторам, ученым.

В заключение хотелось бы предостеречь от скоропалительного вывода о безупречности немецкой политики заимствований. Без сомнения, в немецком языке есть в этом отношении множество своих проблем. Однако в нашем сравнении мы не касались их, стремясь выделить лишь положительный опыт.

К 100-летию со дня рождения Е.Д. Поливанова



Международный семинар в Смоленске

27–28 февраля 2001 года в Смоленском государственном педагогическом университете состоялся Международный научный семинар “Е.Д. Поливанов и его идеи в современном освещении”, посвященный 110-летию со дня рождения Евгения Дмитриевича Поливанова (1891–1938), выдающегося лингвиста XX века, известного общественного деятеля послереволюционной России. Это событие в научном мире явилось своего рода продолжением работы Международных V Поливановских чтений, которые прошли на родине ученого, в Смоленске, 16–18 мая 2000 года.

Имя Евгения Дмитриевича Поливанова, одного из крупнейших теоретиков языкознания современности, безосновательно репрессирован-

ного и расстрелянного, не требует специального комментария – оно широко известно не только в России, но и за рубежом. Практически нет такой области в языкознании, которой бы не занимался Поливанов! Помимо того, он оставил богатейшее наследие в смежных областях: методике, педагогике, истории, литературоведении, этнографии...

Смоленск стал центром поливановедения. Здесь с 1991 года на базе Смоленского пединститута ведется работа по изучению жизни и деятельности Евгения Дмитриевича, его вклада в российскую и мировую науку.

Прошедший семинар собрал самый представительный состав участников за последнее десятилетие. Здесь встретились известнейшие поливановеды: доктор филологических наук профессор А.А. Леонтьев, автор одной из первых серьезных работ о Поливанове “Евгений Дмитриевич Поливанов и его вклад в общее языковедение” (М., 1983); доктор филологических наук профессор Л.Р. Концевич, составивший библиографию поливановских работ в широко известной книге В.Г. Ларцева “Евгений Дмитриевич Поливанов: страницы жизни и деятельности” (М., 1988); доктор филологических наук профессор зам. директора Института востоковедения РАН В.М. Алпатов, автор многих статей о жизни и деятельности Е.Д. Поливанова; доктор филологических наук профессор М.А. Рудов (Бишкек), исследователь киргизского наследия Е.Д. Поливанова, и др. Следует подчеркнуть, что в рамках работы семинара в Смоленске было в какой-то мере возрождено сотрудничество ученых России и Средней Азии в области поливановедения. В семинаре приняли участие также представители Белоруссии, Украины и Казахстана.

По материалам докладов и сообщений выпущен сборник научных статей, в котором широко освещены проблемы современного языкознания, обозначенные еще Евгением Дмитриевичем и нашедшие отражение в современных исследованиях. Главными разрабатываемыми направлениями можно считать социолингвистику, сопоставительное изучение индоевропейских языков, историю языка и диалектологию, востоковедение, методику преподавания русского языка нерусским, лексикографию. Особый раздел в сборнике – “Из истории науки” – включает в себе переизданные некоторые редкие статьи ученого и одну работу Е.Д. Поливанова из архива РАН, впервые вводимую в научный оборот.

В докладах ведущих поливановедов подчеркивается, что одно из главных направлений, в русле которого должна концентрироваться работа исследователей, – разыскание, обработка и опубликование рукописного наследия Евгения Дмитриевича, выпуск в свет сборника работ ученого; новых материалов о его жизни и деятельности, особенно о последних годах.

Так, в частности, один из первых исследователей научной деятель-

ности Е.Д. Поливанова профессор А.А. Леонтьев в своем докладе “Первые шаги поливановедения” подчеркнул, что после выхода в 1968 году книги избранных статей Е.Д. Поливанова по общему языкознанию была осуществлена большая работа по продолжению опубликования трудов великого ученого, однако постоянно находились силы, препятствовавшие этому. Только после начала перестройки появилась возможность издать еще один том (1991), хотя подготовлено или почти подготовлено к изданию гораздо больше работ Е.Д. Поливанова, освещающих самые актуальные вопросы современного языкознания (задуман был трехтомник!).

Необходимо активизировать издательскую деятельность, но на это нужны средства! Однако дело того стоит, ибо вклад Е.Д. Поливанова в русскую и мировую лингвистику – даже если ограничиться лишь теорией языкознания, настолько огромен, что поддается оценке лишь частично, в главных чертах. Россыпь поливановских идей еще требует детального исследования – ведь, зачеркивая в период репрессий само имя, невозможно было “зачеркнуть” блестящие научные мысли, намного обогнавшие время: сегодня идеи Е.Д. Поливанова, щедрой рукой гения разбросанные по разным работам, приходится буквально по крупинкам выискать и собирать по архивным материалам. Как отмечал в своем выступлении на семинаре профессор Л.Р. Концевич, на повестке дня – работа с поливановскими архивами, отыскание найденных статей и набросков ученого, а порой и серьезных трудов, о которых сохранились хоть какие-либо замечания... Это работа не одного дня и не одного исследователя.

В решении семинара все его участники единодушно высказали самую большую благодарность Российскому фонду фундаментальных исследований, который оказал финансовую помощь в организации и проведении этого юбилейного научного мероприятия. Было высказано также пожелание дальнейшего тесного сотрудничества отечественных и зарубежных поливановедов. VI Поливановские чтения решено провести в Смоленске в 2003 г.

И.А. Королева,
доктор филологических наук,
председатель оргкомитета семинара